



ЗЕМЛЯ
И **ВЛАДИМИР**
БУТРОМЕЕВ
ЛЮДИ

Владимир Петрович Бутромеев
Земля и люди
Серия «В призраках
утраченных зеркал», книга 1

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43472516

Земля и люди: Вече; М.; 2016

ISBN 978-5-4444-4454-2

Аннотация

Владимир Бутромеев – современный прозаик. Родился в 1953 году, в 1986 году в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый сборник рассказов «Любить и верить», удостоенный литературной премии имени М. Горького. Пьеса «Страсти по Авдею», написанная по одной из глав романа «Земля и люди», в постановке Белорусского Академического театра, вошла в число классических произведений белорусской драматургии, в 1991 году была выдвинута на Государственную премию СССР. В Белорусском Академическом театре была поставлена и часть трилогии Владимира Бутромеева «Театр Достоевского». («Один судный день из жизни братьев Карамазовых», «Преступления бесов и наказание идиотов» и «Вечный Фома»).

Роман-мистификация «Корона Великого княжества» в 1999 году получил премию журнала «Дружба народов» как лучшая

публикация года и вошел в шорт-лист премии «Русский Букер». Бутромеев живет и работает в Москве, он создатель многих известных издательских проектов, таких как «Детский плутарх», «Древо жизни Омара Хайяма», «Памятники мировой культуры», «Большая иллюстрированная библиотека классики», отмеченных международными и российскими премиями. Над первым романом цикла «В призраках утраченных зеркал» – «Земля и люди» автор работал более двадцати лет. Главы романа публиковались в журналах «Неман», «Роман-газета», «Вестник Европы». Продолжая традиции прозы Гоголя и Андрея Платонова, переосмысляя пророчества и предвидения Толстого и Достоевского, автор создает эпическое произведение, в котором, как в фантастическом зеркале, отразилась судьба России XX века.

Содержание

Часть первая	8
I. Как это было и романы писателя Достоевского	9
II. Списки погромной ночи. Петр Строев, солдатка и желание обладать ею как причина погромной ночи	14
III. Остальные фамилии погромной ночи	17
IV. Разрешение, полученное Сырковым в Москве	20
V. Белые кресты на заборах и домах	24
VI. Люди страшнее всего	26
VII. Что такое хутор	28
VIII. Мои земли	31
IX. Ханевские	35
X. Доставшиеся мне земли	38
XI. Топографическое описание	41
XII. Старик Ханевский	43
XIII. Старик Карамазов и писатель Достоевский	45
XIV. День накануне	54
XV. Иван Дурак и Ванька Каин. Кто такие русские люди	57
XVI. О замыслах погубить русского человека	63

XVII. Старик со старухой	67
XVIII. Старичок долгожитель	70
XIX. Злодейские промыслы Ваньки Каина	74
XX. Сколько убили русских людей в Погромный век	80
XXI. Земля	98
XXII. Понятие жить	103
XXIII. Откуда берутся люди	105
XXIV. Вуевские и Ханевские	108
XXV. Старуха Ханевская	113
XXVI. Младший сын старухи Ханевской – отец Стефки	116
XXVII. Рождение Стефки	120
XXVIII. Травница Стефания	123
XXIX. Что такое смерть	126
XXX. Девушки, которые плетут всем веночки	135
XXXI. Стефка в чужой семье	139
XXXII. Золото в кожаном и полотняном мешочках	142
XXXIII. Похороны старухи Ханевской	145
XXXIV. Происхождение названия Рясна	148
XXXV. Разногласия по поводу толкования названия Рясна	152
XXXVI. Что такое люди	155
XXXVII. Положение Рясны относительно сторон света	158

XXXVIII. Отступление о сыне бабки Клеменчихи	164
XXXIX. Примечательные постройки Рясны	167
XL. Халупа Стефки в Рясне	171
XLI. Евреи в Рясне	173
XLII. Старуха-время	182
XLIII. Что значит уйти в прочки	185
XLIV. Базар в Рясне	188
XLV. Ряснянская округа. Зубовка	190
XLVI. История знаменитого глагола	192
Конец ознакомительного фрагмента.	194

Владимир Бутромеев

Земля и люди

© Бутромеев В. П., текст, 2016

© Звонарёва Л. У., послесловие, 2016

© Аннинский Л. А., послесловие, 2016

© ООО «Издательство «Вече», издание, 2016

Часть первая

История народа, особенно народа долго жившего и много повидавшего, на себе испытывавшего все формы бытия, знавшего расцвет, падения и прозрения, история такого народа не менее любопытна и полезна чем история души человеческой, которую так часто изображали нам великие художники. Можно сказать и более того: история народа и история души человеческой схожи между собою, они едва ли не суть одно и то же.

Заметка Льва Толстого после прочтения предисловия к «Журналу Печорина» из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

I. Как это было и романы писателя Достоевского

Вот как это было. Их убивали той осенней ночью на Сдвижение, поэтому ночь и назвали Погромной, их всех было предназначено убить – и ночь была темна, и списки написаны, и те, кого убивать, исчислены и занесены в эти списки – только убивай, и белые кресты на воротах светились в крошечной глухой тьме – никак не ошибешься, приходи и убивай.

А тех, кого не получилось убить сразу, должны были сселить с земли и рассеять по свету, чтобы они погибали где придется, потому что, кроме этой земли, у них ничего не было, и она была для них как весь мир, за пределами и границей которого все чужбина и небытие (у Виктора Ханевского, кроме этой земли, было несколько томиков с романами писателя Достоевского; этот писатель жил в России еще в девятнадцатом веке, когда все то, что произошло в двадцатом, показалось бы страшным видением, кошмарные видения мерещились ему, и, обезумев от ужаса, дрожащими от страха руками он писал эти романы, а Ханевский читал их и не спал по ночам, его тоже охватывали страх и ужас задолго до той темной осенней ночи, когда все это убийство и вершилось, и он не мог уследить за тем, что творилось вокруг него, совершалось и свершалось в страшной своей неотвратимости, он

даже не мог уследить за течением простого дневного времени, не говоря уже о том непонятном времени, которое роилось по ночам; но то, что у него были эти томики с этими романами не спасло его, как не спасло и остальных, в том числе и писателя Достоевского, его детей, внуков и правнуков).

И, оставшись без земли, все и должны были погибнуть, смерть и гибель была суждена им, потому что они не сумели сохранить эту свою землю, а жить без нее они не умели, именно за эту землю их и убили, уничтожили, за то, что она у них была, за то, что она досталась им от живших раньше их отцов и дедов и даже прадедов, досталась – кому пятнадцать, а кому и под сотню десятин хорошей пахотной земли, некоторым даже с кусочком леса, с речушкой и лугом, пестроцветущим летом и сочнозеленеющим поздней осенью вторым укосом – отавой. Отцы, и деды, и прадеды оставили им эту нажитую и обжитую землю, чтобы по свойственной многим родителям заботе о своих детях уберечь их, этих детей, от бесприютности на перекрестках дорог, чтобы им было где укрыться от ветра и времени, чтобы им не жить на белом свете за штаны и миску супа, чтобы у них была своя земля под ногами.

А получилось так, что земля не спасла их (как не спасли Виктора Ханевского те несколько томиков с романами писателя Достоевского, читай их и перечитывай, а они не спасли), земля не спасла, а стала причиной гибели, за нее их и предназначено было убить, всех, строго по списку, а те, ко-

му пришлось выжить, должны были под страхом все той же гибели, уничтожения и истребления забыть и не помнить ту страшную осеннюю темную Погромную ночь, светящуюся белыми крестами, написанными, начертанными мелом на заборах, воротах и между окон прямо на черных бревенчатых стенах (еще страшнейшую, чем те романы, которые писал дрожащими руками в конце девятнадцатого века писатель Достоевский, а Виктор Ханевский в начале двадцатого читал, цепenea от страха).

[* * *]

— Но как же так? Почему, за что им было суждено погибнуть, умереть? Что такое вдруг произошло, что они, и их дети, и дети их детей должны умереть или рассеяться по свету, лишиться своей земли, исчезнуть и больше не жить и не быть?

— Это неизвестно. Можно только догадываться и строить всякие разные предположения, пытаться искать причины, но точного и кем-либо подтвержденного ответа на этот вопрос нет. Возможно, виноват тот старик в белых одеждах, измазанных глиной, потому что он все время имеет с ней, глиной, дело и поэтому его одежды в этой глине, а им полагается быть белоснежно-белыми, как белая равнина зимой после метели в яркий солнечный день. Возможно, это как тот корабль, пароход, который плыл неведомо ку-

да и неизвестно зачем и однажды ночью получил пробоину и начал медленно тонуть, а люди толпились у спасательных шлюпок — места всем не хватало. Только пароход не утонул, а сел на мель. Трюмы наполовину заполнились водой, кто-то уплыл в шлюпках, а все остались. Одни пытаются соорудить что-то вроде плотов и спастись, или хотя бы отправить детей неведомо куда, другие, надеясь на то, что они хорошо умеют плавать, плывут в одиночку, третьи кое-как устроились на пароходе, провизии в полузатопленных трюмах пока хватает, но плыть неведомо куда и неизвестно зачем пароход уже не может и все рано или поздно погибнут, их больше не будет.

— Но ведь можно заделать пробоину, откачать из полузатопленных трюмов воду, снять пароход с мели и плыть дальше неведомо куда и неизвестно зачем, и тогда все не погибнут, не исчезнут и будут.

— Тогда да. Наверное, это возможно. Но это трудно и тяжело. А никто не хочет. А заставить тоже некому. Поэтому все, видимо, все-таки погибнут.

— Боже мой! Боже мой! Ведь это ужасно!

— Да, ужасно. Хотя ужасным все это кажется только если думать об этом, если представлять себе всю эту картину целиком. А если не думать, то это не так и ужасно. Такое случалось и раньше и потом просто забывалось. Тем более что думать никто не хочет. Жить, не думая, легче. Но живя бездумно, можно оказаться в очень тяжелом, да-

же ужасном положении.

— Да, да, это ужасно! И старики, и маленькие дети, и женщины, да и все остальные! Ведь это невозможно, чтобы нас, русских, больше не было, чтобы мы больше не плыли неведомо куда и неведомо зачем, ведь мы были, мы даже пока еще есть!

— Ну, старикам уже почти все равно, они так ли, этак ли прожили, а маленьким детям, женщинам — да, деваться некуда. Да и остальным тоже.

— Но что же делать?

— Когда? Тогда или сейчас?

— Тогда.

— Тогда — как ты и сам сказал: чинить пароход и плыть дальше.

— А сейчас?

— Также. Заделывать пробоину, ремонтировать машины, наводить порядок на палубах и плыть дальше неведомо куда и неведомо зачем, быть и не погибнуть, не исчезнуть, иного смысла нет, иной смысл неизвестен.

— А это возможно?

— Не знаю. Судя по тому, что происходит, — нет.

II. Списки погромной ночи. Петр Строев, солдатка и желание обладать ею как причина погромной ночи

Место, где все произошло, и называлось Рясна, ряснянская округа. Итак, началось все в Рясне, потому что именно в Рясне начался тот день, когда все те, кто должны были убивать, собрались в волостной управе, чтобы написать список тех, кого убивать.

Они сели за стол, Сырков положил на этот стол лист бумаги и вписал в список несколько первых фамилий. Самым первым шел Петр Строев, сын старика Строева из Зубовки, а вместе с ним и его брат Нефед, это им старик Строев купил у сына пана Спытки Золотую Гору – может быть самый лучший кусок земли в ряснянской округе.

«Петр Строев, – было написано в списке, – застрелить из винтовок, не подходя к нему близко, потому что, что он может прийти в Рясну и ударом кулака убить Сыркова, забравшего себе Солдатку, жившую до того лет пять у Петра в работницах», – ту самую Солдатку, которая пришла по пыльной летней дороге неведомо откуда и которую старик Строев не разрешал Петру взять в жены, боясь ее безродности.

Старик Строев недавно умер, и Петр, может быть, и нарушил бы его запрет и женился бы на Солдатке, но однажды

ночью к нему явились два грабителя, он убил одного, а другому сломал ключицу, и этот другой оказался родным братом Солдатки (его звали Иванко).

Петр отвез и убитого, и Иванку в волостную управу, а Солдатка, вопреки немому запрету Петра, понесла брату кусочек «хлебца» – боясь взять из дома Петра больше – и упростила Сыркова пустить ее к Иванке, а потом Сырков оставил ее у себя и несколько дней на дверях волостной управы висел замок, а Девусиха, у которой Сырков снимал полхаты и которая, как и всем другим ряшнянским мужикам, давала ему за бутылку водки «согнать дурь», рассказывала, что все эти несколько дней Сырков не отрывался от Солдатки и выходил со своей половины, только чтобы поесть, и, не проглотив толком последний кусок, опять тащил Солдатку за ширму: «Во дорвался, як прорвала, будто и не пробовал раньше», – смеялась Девусиха, хлопая себя по дородным бедрам. «Ага, – подхватывали бабы, довольно улыбаясь, словно радуясь и гордясь, – ти эта усе солдатки такая, а вспомнитя зубовскую Настасью».

И все вспоминали солдатку Настасью, жившую когда-то в Зубовке и знаменитую тем, что по нескольку дней не выпускала из хаты мужика, набравшегося смелости зайти к ней на огонек, – и надо сказать, что таких смельчаков находилось немного. Спустя неделю Сырков стал появляться в управе, но не засиживался там долго и раз пять за день бегал к Солдатке, а когда прошел угар первых недель, задумался и ду-

мал каждую минуту только о том, что Петр Строев рано или поздно придет в Рясну и заберет Солдатку, поэтому Сырков и придумал Погромную ночь – все в волостной управе знали об этом.

Рядом с Петром Строевым в списке стояло: «Нефед Строев – тоже убить, не подходя к нему близко, потому что он родной брат Петра Строева и еще большей силы, чем Петр, и, увидев, что убивают брата, или узнав об этом позже, он бросится к нему на помощь».

III. Остальные фамилии погромной ночи

Дальше по списку шел «Авдей Стрельцов – забить прикладами, проломить голову и оставить на съедение лесным зверям за оградой хутора потому, что он не захочет жить за штаны и миску супа и не отдаст своих коней, коров и землю и, обезумев от злости и отчаяния, выйдет с карабином в руках к тем, кто придет его убивать», вместо того чтобы упротить Егора Вуевского вычеркнуть его из списка, продать коней и коров и дать загнать себя в колхоз и жить, не поднимая головы, как все остальные хуторяне, откупившиеся так от убийства.

Следующим вписали: «Виктор Ханевский – арестовать и отправить в уезд, чтобы его уже там расстреляли или сгноили по тюрьмам за то, что он не хотел называть убийство и разграбление непонятными словами и отказался отдать Егору Вуевскому (чтобы тот поделил с Сырковым) золото, которое осталось ему от родителей, или часть этого золота, припрятав остальное, как все хуторяне». Убить самим Виктора Ханевского, вернувшегося на хутора из Москвы, в костюме тройка и в туфлях, носившего в холодное время года пальто с воротником, а в дождик ходившего с зонтиком, никому не приходило в голову.

Здесь же была упомянута и Стефка Ханевская: «Набро-

ситься и растерзать, потому что, когда спустя год Сырков и командир красноармейцев увидят ее, полуобнаженную, сжимающую от отчаяния руками голову, они не смогут забыть ее гибкого тела, ее распущенных волос и, отыскав письмо из Москвы с приказом самого Сталина* убивать всех женщин в веночках из васильков, ромашек и колокольчиков и вспомнив, что у Стефки в ее халупе на стене висел веночек из каких-то засохших цветов, они вернутся в ее халупу, словно два пса, ведомые запахом крови, и набросятся на нее, даже если и не внести ее в список».

А ниже следовали двадцать четыре фамилии с припиской: «Убить и их потому, что когда они увидят на своих заборах, воротах или между окон, прямо на бревенчатых стенах, белые погромные кресты, то онемеют и оцепенеют от страха, и у них можно будет забрать все: и коней, и коров, и землю, а самих или убить сразу, или выселить с обжитой земли вон, отдать на поток и разграбление».

Эти двадцать четыре фамилии вписали в список, чтобы список был длиннее, на самом деле список составляли не один день, а несколько недель, в него попадали многие, но кто-то откупался, кого-то вычеркивали, потому что выяснялось, что он родственник – близкий или дальний – кого-нибудь из писавших список.

Егор Вуевский хотя-нехотя вычеркнул из списка всех хуторян, первоначально в список попало больше двухсот фамилий, осталось около тридцати, я помню пять: Петр

и Нефед Строевы, Авдей Стрельцов, Виктор Ханевский и Стефка Ханевская и было еще двадцать четыре, те двадцать четыре, которые к сегодняшнему дню навсегда забыты, стерты на опавших, пожухлых листьях под полкой рваного полушубка Старухи Времени и уже не существуют. Кроме того, в списке были и другие фамилии, написанные неясно, потому что многие, кого тогда внесли в этот список, еще даже не родились, единственная из фамилий, которую я разобрал, была моя собственная.

IV. Разрешение, полученное Сырковым в Москве

День накануне той осенней темной Погромной ночи начался с утра, как и все дни до него и как все дни после. То, что должно было произойти той страшной ночью, не меняло хода дней, их обычного чередования с ночами, их постоянного хорошо известного многим людям течения.

Раньше всех в тот день проснулись Петр Строев и Виктор Ханевский.

Петр Строев очнулся от сна один на широкой деревянной кровати и, не услышав ровного дыхания Солдатки, еще раз, как каждый день месяц подряд, вспомнил, что ее нет, что она ушла в Рясну, понесла «хлебца» брату Иванке и осталась у Сыркова. «Ах, придорожная сволочь, братец Иванко тебе надо», – подумал Петр и вспомнил старика отца. Вспомнил его запрет жениться на Солдатке, вспомнил его предупреждение, что однажды могут прийти и отобрать землю, как отобрали, забрали землю пана Спытки, и его сына, и землю княгини в Трилесино, и земли помещика Казачка.

И как при жизни отца Петр промолчал, но про себя угрожающе подумал: «Хай только попробуют!». Он знал, что в Рясне уже пишут список, по которому будут отбирать землю, коней и коров, а тех, кто не отдаст, или убьют, или вышлют в Сибирь, как когда-то высылали на каторгу за конокрадство

и поджог деревни, за убийство человека – и царя, и всякого другого, и не только за убийство – за смуту и бунт, грозящие всяким мирным поселянам тоже.

Петр знал, что все это придумал Сырков, и что он даже ездил в уезд и в Москву, где у него старые дружки, вместе с Сырковым сидевшие раньше по тюрьмам и по каторгам в Сибири, и что Сырков сговорился с ними, и теперь, имея их согласие, может отбирать землю, у кого захочет, и убивать всех, кого захочет, только захоти, и ссылать в Сибирь.

– Хорошо, – сказали Сыркову в Москве, – отбирай коней, коров, землю, убивай, а кого не получится убить сразу, ссылай в Сибирь, раз уж не можешь без этой Солдатки. Но только перед тем как идти убивать, поставьте мелом кресты на домах тех, кого будете убивать.

– Это зачем же? – удивился Сырков.

– Вы пойдете ночью? – спросили Сыркова.

– Да, ночью... Днем как-то оно... Ночью всегда удобней. И меньше бросается в глаза.

– Ну вот, ночью. А ночью – темно, можно перепутать дома или кого-то пропустить. Поэтому и нужно поставить мелом кресты.

– У меня в волостной управе все местные. Им не надо никаких крестов, они и так всех знают. И никого не пропустят, потому что мы составим список.

– Список – это хорошо. Но кресты тоже нужно поставить.

– Да с ними только одна морока, ходи, пиши их мелом,

обойдемся без крестов, – стоял на своем Сырков.

– Нет, – строго сказали ему. – Ты не учился в университетах и не бывал за границей. А мы учились. И бывали. И знаем лучше тебя: кресты в таких случаях обязательны. Без крестов нельзя.

– Хорошо, – не стал больше спорить Сырков.

Он в самом деле не учился в университете и никогда не ездил за границу. Сырков был сыном дворовой девки и беспутного помещика, промотавшего два имения – свое и жены, его, этого помещика, убили на дуэли в самом начале германской войны за то, что он хотел на кого-то свалить растрату казенных денег. Сырков рос на заднем дворе без сапожек, угощений и гостинцев не знал, бывал в разных тюрьмах, на каторге, но попадать в университеты и за границу ему не приходилось.

– Неужели так не оторваться от этой Солдатки? – спрашивали его старые дружки-сотоварищи. – А то оставайся с нами в Москве. Здесь баб пруд пруди – вон Большой театр под боком. И должность тебе мы определим. Что сидеть в этой Рясне?

И Сырков чуть было не остался. Он любил поесть и выпить, а угощали его на славу, он и водок таких никогда не пил, и закусок таких никогда не закусывал, такие водки и закуски раньше подавали только царям и то к праздничному столу. Но в последний момент Сырков вспомнил Солдатку и отказался.

– Смотри сам, – сказали ему. – Дело твое, может ты и угадаешь. У нас тут сытней и бабы из театров, да оно и опасней. Иной раз так завернется, что друг дружку душить приходится. А у тебя там, в этой Рясне, наверное, тихо, спокойно, жарь свою Солдатку да запивай самогоном, а? И воздух, наверное, хороший. Езжай, но про кресты помни. Насчет этого у нас строго, все должно быть как положено, как записано в книгах. И вот еще что. Когда пойдете убивать и отбирать коней, нужно чтобы впереди кто-нибудь нес портрет Маркса*.

– Зачем? – спросил Сырков.

– Ну, чтобы все знали, кто такой Маркс. А то ведь многие даже и не слыхали о нем.

– Но ведь мы пойдем ночью. Все равно ничего не видно.

– Ладно. Портрет повесьте на стене в волостной управе. Но кресты мелом поставьте обязательно. Смотри, не забудь.

V. Белые кресты на заборах и домах

Сырков вернулся в Рясну. И Семке-Хомке пришлось несколько дней ходить по округе и ставить мелом на заборах, воротах и прямо между окон, на черных бревенчатых стенах, белые кресты.

– Табе што тут надо? – подозрительно спрашивали хозяева, застав его с куском мела у своих ворот.

– От волостного совета сказано, каб было все, как положено, поставить кресты, – отвечал Семка-Хомка.

– Эта для чаго ящэ?

– Будуть вас убивать, каб забрать вашу зямлю, коней и коров, а хто астанется, дадут штаны и миску супа – и живи, – скалился Семка-Хомка, словно желая уколоть, вот, мол, как вам.

– А ну иди, дурак, отсюдова, – гнали его от ворот.

И, получив несколько раз по шее, Семка-Хомка выбирал время, когда никого из взрослых нет дома или только остаются маленькие дети и собака – осень, все еще управлялись с работами в поле, у некоторых еще даже стоял лен, и журавли летели в поднебесье, с щемящими сердце криками, под тоскливо отчаянные взмахи крыльев, – и Семка-Хомка расставил все кресты соответственно списку, и кресты светились бело-голубоватым фосфорическим светом в темноте осенних безлунных, беззвездных ночей и были хорошо видны изда-

ли.

VI. Люди страшнее всего

Петр Строев слышал, что все это Сырков затеял, чтобы убить его, Петра, боясь того, что он, Петр, придет в Рясну и отнимет у него Солдатку, чего Петр делать не собирался. «Табе надо братец Иванка, табе надо Сырков – иди», – повторял про себя Петр, но знал, что если бы Солдатка вернулась и молча встала у порога – вот сейчас, утром, или после обеда, или к вечеру – он бы молча принял ее, не выгнал и оставил в хате.

И, кроме того, Петр знал, помнил и чувствовал, что, вопреки приказам старика отца, не отдаст землю, коней и коров, если придут их отбирать. Старик наказывал не идти против, сделать так, как все, и присмотреть за старшим братом Нефедом, тугоумом, по-детски не понимающим, что и как надо делать, как жить, когда касается людей.

Старик учил, что нет ничего на свете страшнее людей. Старик был высокого роста, незадолго до смерти ему минуло сто лет, время согнуло старику спину, скрючило ноги, он давно поседел, редкие белые космы волос на голове торчали во все стороны, жидкая борода тоже была седая, белая, но зубы у старика были все целы, глаза быстрые, острые, старик видел насквозь, лицо его не покидало выражение, словно он вдруг заметил в толпе вора, залезшего в чужой карман, и старик как будто готов вот-вот крикнуть:

«Ах, подлец, ты что это делаешь! Эй, а ну-ка хватай его, ребята!» За полгода до смерти отец приказал Петру каждый день вечером, после всех дел, приезжать к нему в Зубовку, и Петр даже в уборку, после тяжелого дня, запрягал лошадь и ехал, а потом сидел в отцовской избенке, ничем не выделявшейся среди изб остальных жителей Зубовки, и до поздней ночи слушал отца. «Люди, люди страшной усяго на свете, – говорил старик, расхаживая на искривившихся к старости ногах от печки до порога, – люди страшной звярей: ат зверя схаваешься, ат людей не, люди везде найдуть. Люди страшной Бога – от Бога отмолишься, ат людей не. Не-е, сыночек, ат людей не отмолишься, ат их не спасешься», – грозил старик Петру пальцем, по глазам сына видя, что тот хоть и не перечит, но с отцом не согласен.

И, проснувшись и вспомнив и Солдатку, и отца, Петр так же упрямо подумал: «Хай только который попробуеть».

VII. Что такое хутор

Итак, место, где составляли погромные списки, называлось Рясна, ряснянская округа. Сама Рясна, собственно Рясна с базаром, с халупой Стефки Ханевской, облитой по ночам лунным светом, будто обмазанной сметаной, выбеленной известью как какаянибудь украинская мазанка (потому-то Погромной ночью белый крест на ней и не приметили сразу и пришли убивать Стефку и растерзать ее уже год спустя), с бывшей волостной управой, с дорогой, пронизывающей Рясну насквозь, – именно эта Рясна и находилась рядом с хуторами*, то есть нашими (моими) землями, и она, эта Рясна, помещалась совсем недалеко от них, километрах в трех-четырех, в самом центре ряснянской округи.

** Хутор – это небольшой пологий холм с избой, огороженной крепким забором, обычно частоколом. Все неогороженное могло быть растащено людьми и временем, могло пропасть, даже просто быть утерянным, порости бурьяном и травой, поэтому хуторяне, люди хозяйственные, осмотрительные, осторожные и недоверчивые, в общем-то нелюдимые, и огораживали свои владения надежным частоколом, и хутор стоял, как ему и положено, одиноко, по-хозяйски нескучно на вершине холма, за высоким частоколом, в окружении леса, колючих темно-зеленых, окованных в серебро елей (зимой) или в окружении золотисто-*

ржаных, пшеничных полей с кусочками голубого льна, когда лето.

На древних изображениях, выбитых на меди и сохранившихся на керамике, холм с избой обычно приподнят над вершинами елового леса, плотного, словно стена. Рядом изображали дуб – дерево жизни, стройный, высокий, долголетний, и извечные символы хутора: ворона, тоже одинокого долгожителя, ласточку (перед дождем летающую у самой земли, а к хорошей погоде – высоко в небе), стайку воробьев и обязательно собаку; среди многих медных рельефов хорошо известно редкое изображение старого, большого, лохматого, немощного пса на ржавой гремющей железной цепи.

Если зимой, то обязательно была и луна, похожая на белую, упитанную, нежно-тонкорунную овцу, из ее шерсти старухи длинными безысходными ночами прядут, сучат нити, тянут их от луны прямо в дом через заиндевевшее окошко, а потом вяжут сподки – мягкие, теплые варезки под рукавицы, и сердито говорят детям: «Надевайте сподки, руки пообморозите», а дети так и смотрят, чтобы без рукавиц, в одних сподках, и вот уже сподки порваны, а неслух, получив хворостинной из веника, сидит в запечке, дуясь как мышь на крупу на весь белый свет, а старухи, недовольно пошаркав по хате и поворачав себе под нос, опять садятся к прялкам и сучаттянут нити в нескончаемую надвигающуюся, обступающую ночь.

Происхождение слова «хутор» неясно. В некоторых

древних языках слово «хутор» означает часть округи или переводится как «отдельное место», «место подальше от других людей, не умеющих жить, один-сам». А иногда оно переводится как «граница, рубеж, межа, непроходимая и непреодолимая». В одном из самых древних языков, самом древнем и достоверном (говорят, что таким языком многие считают древнеиндийский) слово «хутор» близко по значению словосочетаниям «человек-хозяин, человек сам по себе, сам себе человек».

Существуют языки, в которых при желании можно найти перевод слова «хутор» как «дом на вершине холма». Такое совпадение обычно относят к наивным, несерьезнонаучным, происходящим не из темных глубин и сплетений, из которых положено рождаться словам и смыслу, а подсказанным прямым сравнением с древними символическими изображениями хутора.

Для понимания, что такое есть хутор, очень важны пословицы – их огромное множество, на несколько томов, сводов с академической нумерацией. Самая главная из них, определенная под номером один:

«Коль жили б мы на хуторе, так нас бы не попутали».

VIII. Мои земли

Эти собственно наши (мои) земли назывались Вуевский Хутор и состояли из десятка владений потомков старинной хуторской шляхты – Ханевских, Вуевских и относившихся к ним же ВолкКарачевских, или, как позже писалось, просто Волковых, или Волк – так записали свои фамилии старшая и средняя сестры, дочери Владимира Волкова, сына Ивана, праправнука Данилы.

К этим же землям относился и хутор, принадлежавший Авдею Стрельцову, по матери Авдею Вороне; фамилия Ворона сохранилась за Таней, внучкой Авдея, так ее записали в память бабки, спасшей род и фамилию от потока и разграбления.* (Авдей Ворона купил хутор незадолго до 1917 года ** и оказался соседом старозаветных, старозаконных хуторян-вувцев.)

** Предполагается, что правильное «разграбление и поток», так как первое предшествует второму: сначала грабят, а потом ограбленные нескончаемым потоком бредут по дорогам безо всего: все отнято. Поток не что иное, как изгнание, согласно многим словарям и энциклопедиям, «выбытие из обжитой земли вон». Хотя по другим источникам, поток «обнимает совокупность наказаний, следующих за конфискацией имущества, вплоть до смертной казни», то есть убивать можно и сразу – и убивали, но из тех,*

о ком помню и знаю я, сразу не удалось убить ни одного: это были такие люди, что они не дались, правда, со временем их почти всех убили (и все-таки не всех), но тем, которых не убивали, лучше бы позавидовать убитым.

Слова «поток и разграбление» или «разграбление и поток» в обычном употреблении почти не разделяются, существуют неразрывно друг от друга и даже могут так и писаться в одно слово – разграблениеипоток – и означают «истребление и уничтожение» сразу или потом, причем обязательно кем-то разрешенное, говорят: «Отдать на поток и разграбление» – кто-то ведь отдал, или: «Быть обреченным на поток и разграбление» – кто-то ведь обрек.

Этот кто-то никому не известен, его никто не знает: ни те, кто обречены на поток и разграбление, ни те, кого миновала эта участь.

*** Одна тысяча девятьсот семнадцатый год по летосчислению, принятому в Российской империи, совпал с началом нового века и с концом века старого – концом света. Авдей Ворона не знал об этом и за несколько лет до того конца света (лет за семь-восемь), предполагая жить и жить, женился на красавице Варваре Столяровой, собрал с матерью денег, взял еще и в долг у старого Залмана и купил землю у помещика – однодворца по фамилии Казачок, большого любителя, знатока и ценителя*

коней, покровителя Владимира Волкова, с которым он соседствовал, которому благоволил за умение обращаться с лошадьми, вместе с ним он подшучивал над шляхетским гонимом Ханевских и особенно Вуевских – с ними Авдей и оказался по соседству и позже выдал за одного из них старицу дочку.

Откуда было Авдею знать; Авдей никогда не задумывался о летосчислении, даже календари не водились в его хате, хорошей, просторной, крепкой хате, построенной на своей теперь земле, да и порядком еще оставалось – семь-восемь лет, как догадаться, такое и в голову не могло прийти, старик Строев из Зубовки, умнейший, мудрейший старик, вообще купил детям – Петру и Нефеду – урочище Золотая Гора у сына пана Спытки в самый тысяча девятьсот семнадцатый год, заплатив чистым золотом, золото это он собрал, скопил за долгие годы, потому что из зимы в зиму, когда заканчивалась крестьянская работа, ездил ямщиком на своей тройке.

Эти-то земли и хотели, пытались отнять у меня, и не только у меня: и у Ханевских, Вуевских, Волк-Карачевских (Волковых, Волк), и у Авдея Вороны— у них и отняли, старшего сына Авдея, прижали штыками к стене сарая, Авдею заломили руки, били прикладами винтовок под ребра, он кричал, выл, как волк, храпел, как раненый медведь, захлебываясь кровью, и не видел стоящую на крыльце жену Варвару, она держала высоко над головой стеклянную керосиновую лампу, яркую в бездонной темноте глухой осенней ночи, а ря-

дом с ней стояли Танька, Катька, младшие Федька, Мишка и Степка и Надя, а сзади за ними старик-отец, седой, белый, в белом нижнем белье, а из окна, освещенного красным, нарисованным на стекле язычком коптилки, смотрела безумными горящими глазами старуха-мать и как будто говорила: «А... вот... Ня слухали мяня... Во...» – и, прижимая к себе любимицу-внучку Маньку, закрывала ей, трясущейся, ладоною глаза.

IX. Ханевские

И Ханевских лишили всего – не сразу, как Авдея, а сдвинули с земли, оттеснили, род зачах, выклинился, что распылчился, что стерся, и старик Ханевский, сын старухи Ханевской, на Радоницу бродил по хуторскому кладбищу один, никого из них – Ханевских – уже нет на этой земле, на этом свете, один только старик и остался, и стоит, опираясь на ограду могилки, смотрит невидящими глазами – сколько их, Ханевских, на этом кладбище, а ведь они когда-то были, жили, и жизнь их продолжалась в других Ханевских, которые оставались и которые потолковее, посправнее, побогаче, поумнее и тех, кто жил рядом, и тех, кто жил в Рясне и по деревням вокруг.

И земли у них побольше, и пахать они умели получше, и посеять умели в срок, и деньгам знали счет, и фамилия их – Ханевские – записана в губернской дворянской книге, но вот не помогли толковость, справность по хозяйству, ум и достаток и умение хорошо пахать и сеять в срок, и деньги не помогли, и золото – и то, что под половицей, и то, что у старухи Ханевской в полотняном мешочке (то самое, что досталось потом Стефке Ханевской), а фамилия и подавно не помогла, весь окрестный люд есть и продолжается, а Ханевских нет, только вот он, последний Ханевский, старик, бродит по кладбищу, один-единственный на всем белом све-

те, последний, да есть еще один на этом самом белом свете, другой Ханевский, Виктор, о нем никто не знает, и поэтому его как будто и нет.

Это тот Ханевский, у которого, кроме земли, были те самые несколько томиков с романами писателя Достоевского, тот самый Ханевский, которого должны были убить, расстрелять – и расстреляли бы, было за что и нашлось бы кому, отвезли бы в уезд, расстреляли или сгноили по тюрьмам, но его предупредила Девусиха, ряснянская непотребная баба, в ее пьяной и грязной и непотребной жизни только и было радости, что хоть посмотреть на красавца Ханевского, с его щегольскими шляхетскими усиками, в московском костюметройте, в щегольских туфельках – тоже из Москвы, и, узнав, что его собираются убить, она и предупредила. А он не стал ждать, пока его убьют, расстреляют или сгноят по тюрьмам, и ушел, спрятался в лесной избушке зубовского Акима, а потом уехал в Москву и жил там под чужим именем, сам не сам, но все равно ведь Ханевский.

Это тот самый Ханевский, который любил Стефку Ханевскую, а она об этом не знала, не знала-не ведала и не догадывалась, ходила в веночке из васильков, ромашек и колокольчиков, а ее искали по всей стране, чтобы убить за этот веночек, искали да не нашли, Сырков с командиром отряда красноармейцев чуть не схватили ее, да не тут-то было, всю жизнь Стефка ждала чудесной любви, всю жизнь о ней и думала, полюбила зубовского плотника – Младшего Брата, так

его звали, имени даже никто не помнит, и золото, которое Стефка отобрала у старухи Ханевской, ему отдала, и любви он ее не стоил, и золота того не стоил, но Стефка не жалела о золоте, а любовь опять расцвела – молода была Стефка и хотела любить, мечтала, ждала чудесной любви, и она пришла к ней – полюбила Платона Игнатовича и нашла то, что искала, и он ее полюбил, им бы жить да любить, но сначала война отняла у нее Платона Игнатовича, а когда он вернулся чуть живой из концлагеря – кожа да кости – Стефка выходила его, а потом тюрьмы, лагеря – десять лет она ездила, по разным Сибирям с ним, привезла домой, но выходить второй раз не смогла, похоронила, а потом жила-доживала ненужные самой годы.

Так и не узнала она никогда, что Виктор Ханевский любил ее, уж он-то и любви ее стоил и его бы никто не отнял у нее, уж с ним-то и нашла бы она то счастье безграничное, что грезилось ей льняным полем в цвету, была, была на свете эта чудесная любовь, которой ей так хотелось и мечталось, была да не сбылась.

Х. Доставшиеся мне земли

И у Вуевских отняли, и у Волковых, и у них не сразу, а так, как у Ханевских, а все равно отняли, только у меня – нет, тоже, казалось, могло показаться, что как будто бы отняли, но нет.

И все эти земли – и Ханевских, и Вуевских, и Волк-Карачевских (Волковых, Волк), и даже Авдея Вороны, – никому потом и теперь не нужные (после того, как отняли), и остались за мною: диву только даешься, как все минуло, все отняли, всех убили, а кто спастсяспрятался, тот или умер – как так жить? – или исчез неведомо где, а если кто и есть, то забыли, не помнят, а меня как-то пропустили, не заметили и не убили, я знаю и помню, потому за мной и остались эти земли, этот уголок, закуточек (с Рясною и ряснянской округой в придачу).

Часть этих земель досталась мне по прямому наследованию от Волк-Карачевских, часть по косвенно родственному от Ханевских и по косвенно дальнеродственному от Вуевских, а все остальное – и земли Авдея Стрельцова (Вороны), и сама Рясна, и вся ряснянская округа – просто в придачу.

Других наследников нет, кроме Виктора Ханевского, спасшегося под чужой фамилией, но Виктор Ханевский уже прожил свой век, и собирается умирать, и занят мыслями о смерти, видения из романов Достоевского покинули его,

приближение смерти заставляет думать только о ней, то есть о смерти, и Ханевскому некогда заниматься этими землями, и, таким образом, наследственные права отходят ко мне.

Все доставшиеся мне земли, и Волк-Карачевских, и Ханевских, и Вуевских, и Авдея Стрельцова (Вороны), и Рясна, и ряснянская округа, имеют свойство стираться из памяти, исчезать из топографических и географических карт, и их потом (после исчезновения) не найдешь ни на картах, ни на круглой модели земли – глобусе, ни среди звезд Млечного пути – не найдешь нигде.

С ними может случиться то, что может произойти – и обычно и происходит – с тем, что не огорожено надежным частоколом. Их – земли – могут растащить люди и время, они могут порости травой, их может заглушить бурьян, а потом их поглотит лес, сначала появятся отдельные деревца, потом молодая дружная нестройная поросль березок и елочек, а потом непроходимая чаща, чащоба, из которой не найти дорогу, не отыскать выхода, не выбраться, потому что в ней перепутаны корни и вершины деревьев и непонятно, где верх, а где низ, и не остается никаких следов.

И чтобы не было так, мне и пришлось составить это краткое топографическое описание местности, о которой идет речь (со всеми ее пригорками, холмиками, дорогами, лесами и оврагами, травинками и отдельно стоящими деревцами, не пропуская ни одной речушки или ручейка, не забывая ни одного названия, а тем более имени, ведь если было

название, имя, значит, то, что носило это имя, то, что имело название, – было, есть и может дальше быть в отличие от того, что никем и никогда не названо, осталось без имени, а значит, его нет и не было, как нет и не было то, что забыто), и описание времени, когда все это подоспело, накатило и разразилось, случилось-свершилось и произошло.

Я хорошо помню все, что было, как было и зачем, почему, и нет ни сил, ни возможности не писать эту топографию.

XI. Топографическое описание

Если подходить строго, то хутора, Вуевский Хутор и даже соседствующий с Вуевским Хутором хутор Авдея Стрельцова, не относились к Рясне. В силу своей хуторской природы они не входили в ряснянскую округу и всегда оставались сами по себе. Но это если стоять во дворе хутора, огороженного крепким частоколом, раскинув в стороны руки, тогда хутор и его окрестности и соседние хутора с висящими над ними солнцем (днем), луной и звездами (ночью) оказываются посередине всего, что есть на этом и даже на том свете. Если смотреть по топографической карте, то в центре всякой топографической карты всегда не хутор, даже если ты на нем родился, а то место, куда люди собираются на торг, — базар, и кабак при дороге, где люди останавливаются отдохнуть на полпути, базар и кабак при дороге известны в Рясне спокон века, и поэтому Рясна и помещалась в центре ряснянской округи, но раз уж невозможно его (это топографическое описание) не писать, раз уж так необходимо его составлять, торопясь и сбиваясь, но не от страха топота погони, а от невозможности удержать пульсирующее, наивно-детское желание все это писать, я начинаю его именно с хуторов, тем более что именно на хуторах родилась и жила до шестнадцати лет Стефка Ханевская. Я начинаю с хуторов, потому что так требует порядок*, принятый в такого рода описаниях.

** Порядок и правила топографии нужно соблюдать во что бы то ни стало, даже когда они по какой-нибудь причине и не очень нравятся, так как масштабы, принятые в топографии, позволяют получать картину наиболее соответствующую тому, что есть на самом деле или было на самом деле (а это очень важно, и не только важно – в этом заключается весь смысл).*

Взгляд в общем и целом иногда очень сильно искажает то, что было на самом деле, и то, что есть на самом деле. А чаще даже не просто искажает, а изменяет до наоборот. Поэтому я и хочу, пока есть время (этот самый день от восхода солнца до Погромной ночи) и возможность (то есть пока все это еще существует и может быть перенесено на лист бумаги), составить именно топографию и именно с соблюдением всех топографических правил.

Чтение топографических описаний дается нелегко, перечень всех этих пригорков, холмиков, травинок и речушек утомляет, в памяти трудно держать все названия и имена, поэтому я разделил это единое, и на первый взгляд, нераздельное описание, которое в общем-то надо записывать одним, хотя и очень длинным предложением, на небольшие главы, чтобы те, кому эта топография попадет в руки и кому волей-неволей придется его читать, могли бы после каждой главы передохнуть, а уже потом читать дальше.

ХІІ. Старик Ханевский

Виктор Ханевский в этот день проснулся в то же время, что и Петр Строев: за полчаса до восхода осеннего холодного (особенно рано утром) солнца. Он жил на хуторах и работал в школе, которая находилась в доме пана Спытки, рядом с Рясной, идти до нее от хуторов было три-четыре километра.

Зимой Ханевский переселялся в школу, в маленькую комнатку рядом с учительской, в ней он ночевал и в непогоду. Но оставаться в этой комнатке надолго он не хотел: каждодневная ходьба отвлекала его от мыслей. А мысли уже совсем одолели Ханевского, и он не знал, куда от них деваться.

Ему казалось, что все люди – и в Рясне, и в Москве, где он провел больше десяти лет, прежде чем вернуться на хутора, – или сошли с ума, или разыгрывают какой-то нелепый спектакль. Иногда он начинал думать, что с ума сходит он сам. Его преследовало какое-то навязчивое представление, что он – один из сыновей старика Карамазова из романа писателя Достоевского, пятый сын, не попавший в роман и знавший о существовании отца понаслышке.

Ханевский хорошо помнил своего настоящего отца. Это был покладистый, умный старик с типичным шляхетским лицом, с длинным благородным носом, с висячими усами (в молодости лихо закрученными кверху). Он выучил сына в гимназии в Мстиславле и в университете в Москве, оставил

ему добротный хутор и немного (все думали, что очень много) золота.

Старого Ханевского уважали и на хуторах, и во всей ряснянской округе. Его уважала даже старуха Ханевская – она приходилась ему дальней родственницей, и когда-то Ханевский чуть не женился на ней. Старуху Ханевскую боялись и уважали из страха, все верили, что если она наставит на человека свою клюку, тот умрет, хотя это было не так. Если кто и мог погубить человека таким образом, то есть какой-нибудь колдовской силой, так, скорее, Стефка Ханевская или пророчица Параскеевна, и, поразмыслив, любой сообразил бы это.

Но размышлять и догадываться никто не любил, Стефка была весела и смешлива, Параскеевна – добра и снисходительна, а старуха Ханевская пугала всех своим тяжелым взглядом.

Старого Ханевского не боялись, но уважали. Он совершенно ничем не походил на старика Карамазова из романа Достоевского, и Виктор Ханевский никак не мог понять, почему возникает это странное ощущение, будто его отец не старик Ханевский, а старик Карамазов*.

XIII. Старик Карамазов и писатель Достоевский

** Старик Карамазов имел скверный характер, и чтобы отомстить писателю Достоевскому за то, что тот наделил его именно таким, в самом деле очень неприятным характером, Карамазов часто являлся к нему и затевал придирчивый разговор.*

Писатель Достоевский был болен эпилепсией, болезнью до сих пор не поддававшейся изучению и не разгаданной наукой. Его мучили тяжелые эпилептические припадки. Во время этих припадков разум как бы исходил из него, и, лишившись разума, он испытывал ужасные муки безумия. Безумие, причиняя невероятные боли, заполняло его как кипящая, клокочущая лава, и он корчился в конвульсиях, исходил пеной – невыносимо больно (и человеку, и стране) быть вместилищем безумия. Но когда безумие выходило вон, то за несколько мгновений до того, как возвращался разум и ум живоительно снова заполнял его, писатель Достоевский, оставаясь на один-единственный миг и без безумия, и без ума, вдруг ясно и отчетливо видел будущее.

Эти видения – беззвучные, как немое кино (без треска киноаппарата, без мелькания кадров), причиняли ему еще большие страданий, чем раскаленный поток безумия, исходивший из него во время приступов.

Это были не физические, а душевные муки, от них у него и тряслись руки, когда он писал свои романы.

Старику Карамазову в силу особенностей его существования тоже было хорошо известно будущее. Являясь к писателю, он донимал его тем, что тот по слабости духа хотел бы забыть, запрятать куда-либо подальше от самого себя. Старик Карамазов говорил зло, ядовито, с неожиданной подковыркой. Он саркастически называл писателя Достоевского пророком и советовал ему уехать на постоянное жительство за границу.

– Я не люблю жить за границей. Я люблю Россию, – отвечал писатель Достоевский.

– Позвольте, но уж коли вы пророк и властитель дум, так сказать, то в своем отечестве вам не место, – издевательски говорил старик Карамазов. – Ведь сказано: нет пророка в своем отечестве, ибо пророк есть жулик, сиречь, обманщик, с выгодой для себя морочающий голову людям и запускающий руку в карман ближних своих.

– Где так сказано? – спрашивал писатель Достоевский, морщась от слов старика Карамазова, как от боли.

– В писании, – безразлично отвечал старик Карамазов, будто удивляясь, что писатель Достоевский не знает этого.

– В каком Писании?! – писатель Достоевский хорошо знал Писание, то есть Библию, но не припоминал в нем (Писании) такого определения

пророка, – где это написано, что пророки – лжецы и жулики?

– А нигде. Это я из вредности характера сказал. Может, даже и приврал, то есть домыслил, как это делают господа сочинители вроде вас. А если я это из опыта жизни почерпнул? Не все же нам черпать премудрости из Писаний. И обязательно ли, чтобы это было записано в Писании? А впрочем, вот я напишу – и будет писание, – неприятно, словно угодливо, но как-то по-змеиному улыбаясь, говорил старик Карамазов. – Ежели я в своем отечестве напишу, так никто и читать не станет. Всякий скажет: «Это что еще за писака такой выискался, старик Карамазов? Это не тот ли самый, у которого в Скотопригоньевске доля в винных откупах?» И не станет читать моих писаний. Предпочтет писания какого-нибудь графа Толстого. Потому как он – граф и читающая публика о нем давно наслышана. Известно, как вредят людям пишущим всякие винные откупа и участие в разных прочих сомнительных делишках. А вот появись мои писания где-нибудь вдали от отечества, то кто-нибудь, кто и слыхом не слыхал о Скотопригоньевске, а о существовании винных откупов, может, и не догадывается, возьмет да и прочтет мои писания, найдет мыслишку, которая ему запомнится, перескажет другому, третьему, пойдет слушок, слух, кто-нибудь поразится странности мыслей моих – смотришь, и старик Карамазов если не в боги, так в пророки и попадет не хуже какого-нибудь

нерадивого плотника. Ведь ежели бы глупость вроде того, что имение свое, трудами земными нажитое, надо раздать нищим бездельникам высказал какой-нибудь пьяница-плотник из соседней деревни, вы бы ему, господин писатель, не поверили. Ведь сами-то вы имение для деток своих приобрели, а не для раздачи нищим. Вот говорят: в чем истина? А в том, что поступят с детками вашими согласно Писанию. Много говорилось: бросьте, мол, близких своих, отдайте имение свое нищему сброду – вот этот сброд и разграбит, отцов втопчут в грязь и прах, а деток ваших истязают. Вот она истина! А не приходилось ли вам, между прочим, отречься от истины?

– Да, я как-то говорил, что если истина не с Христом, то я все равно с Христом, – озабоченно и раздраженно припоминал писатель Достоевский.

– Зачем же вы сказали этакую глупость, – деланно испуганно всплескивал руками старик Карамазов.

– Для красоты слога. И знаете, всем понравилось. Читающая публика даже в восторг приходила. Не стану отрицать, имение я приобрел детям, но отказываться от этих слов мне теперь неудобно. Я ведь писатель, красота слога очень важна для писателя, за это у нас и Пушкина любят, а он ведь для нас – все, что у нас есть.

– Ну, положим, господин Пушкин был поумнее вас. И с барышнями, и шампанское, и ежели что, и на дуэль мог, и именище у него имелось, и не одно, и оброк он получал исправно не только с тридцати шести букв

русской азбуки. Но я возвращаюсь к деткам вашим – ведь истязают их, как начнут грабить имущества-то!

– Не может этого быть!

– Ну как же не может, коли будет. Да и сами вы в видениях своих наблюдали: истязают.

– Господи, что же делать?

– А вот вам по этому поводу пакет ленточкой розовой перевязан с надписью: «Писателю Достоевскому, ежели захочет принять». И не три тысячи в нем, а куда как более: адреса, явки, время и места, назначенные для покушений на жизнь высокопоставленных особ – заметьте: высокопоставленных! Планы переворотов, и даже те записаны, кого привезут в plombированном вагоне из Германии, немцы – вроде учнейший народ, а подsunут plombированный вагон! И здесь же перечислены бомбометатели и расстрельщики, те, которые из револьвера в затылок, и те, кто и царя, и всю царскую семью порешит. Все в этом пакете, все до единого! Только отнесите куда следует, передайте и поясните – и всех возьмут тепленькими и всех к расстрелу, к расстрелу...

– Но почему же к расстрелу, ведь это пролитие крови?

– Если расстрелять их всех до единого, то получается только несомненная выгода и польза. И какая польза, только стоит расстрелять или хотя бы повесить, если о пролитии крови вы говорите в буквальном смысле слова. При повешении

чаще всего обходится без пролития крови, повесить, именно повесить, как принято во многих европейских странах. Повесить или расстрелять, суть в том, чтобы избавить от них тех, чью кровь они начнут проливать, если останутся живы, проливать потоками, вавилонскими потоками, под коими разумею великие реки Тигр и Евфрат, известные вам по библейским текстам. Ежели вовремя расстрелять всех, кто в этом пакете числится, то и детки ваши спокойно будут владеть наследственным имением: некому будет разбудить это подлое животное – народ, и не восторжествуют хам и ублюдок, и кровь не хлынет реками.

И списки Погромных ночей уже никто не составит. И кресты мелом на воротах и избах никто не начертит. Только примите пакетик, отнесите куда следует.

– Но ведь меня сочтут доносчиком... – смущался писатель Достоевский. – А о пролитии крови я ведь тоже писал – не стоит счастливое будущее всего человечества пролитой капли крови невинного ребенка.

– Так то капли крови невинного ребенка, а ведь все эти господа, – старик Карамазов взвешивал на ладони довольно увесистый пакет, – не дети невинные, а злоумышленники против рода человеческого! Они этот род человеческий уничтожить готовы, за то, что тот старик, в белых одеждах, слепил их второпях, да еще и поставил в последние ряды, чтобы спрятать за тех, кого он вылепил получше. Еще раз спрашиваю: берете

пакет?!

– Нет, уж лучшие я в художественной форме, в образах, с красотами слога изобразжу в назидание...

– Пока вы красотами слога увлекаетесь, они каждый день будут убивать, а вскоре убьют и государя-императора. Берете пакет?!

– Нет, нет, я не могу, отнесите кому-либо другому! И потом, почему я должен вам верить? Вы – отвратительный старик, вы – скверный отец, вы – порочный человек... Вы, вы – ужасный человек, единственно только не душегубец.

– Верно изволили заметить – душегубство не по моей части, – хихикал старик Карамазов, – душегубцы вот здесь, в этом запечатанном пакете, как в запечатанном вагоне – ох, сколько их, они-то и погубят мир, и никакая красота его не спасет. Это ведь вы изволили пустить такой слух, что красота спасет мир?

– Нет, это как раз ваш сын Иван сказал, а я только записал.

– А зачем же вы записываете всякие глупости? Ведь Иван глуп, потому как злой сын. Умный ведь злым не бывает. Да и к тому же он в вашем изображении сумасшедший. А знаете ли вы, что он только прикидывается сумасшедшим, чтобы избежать суда и ответственности за свои домыслы, через которые Смердяков и убил меня, приняв их по своей подлости и простоте за наущения? Не красота спасет мир, а ублюдки погубят его. Вот вы задаетесь вопросом,

кто, мол, спасет мир? А я вам истину скажу – никто. Никто не спасет. Никто! А сын мой Иван тому очень даже поспособствует, когда наступит Погромная ночь, – и старик Карамазов исчезал, но через деньдва появлялся снова и заводил те же разговоры.

[* * *]

– Что же получается, все, что по злобе напроорочил старик Карамазов, и сбылось?

– Что касается самого Достоевского, и детей его, и имения – сбылось.

– А что касается всех нас?

– А что касается всех нас – еще хуже. Как будто мы все не читали тех романов Достоевского, которые он писал дрожащими руками, а ведь эти романы всегда стояли на полках в библиотеках, только бери и читай, их даже во время погромов не запрещали. В школе не изучали, но из библиотек не убирали и не уничтожали. А потом и в школьную программу включили, мол, Достоевский, всемирно известный писатель, иностранцы даже удивляются, как это он сумел так глубоко заглянуть в человеческую душу и ужаснулся тому, что он там увидел. А время от времени еще и допечатывали.

– Зачем же допечатывали?

– Неизвестно. Может, по недомыслию, может, надеялись, что все равно никто их читать не будет,

или допечатывали, сами не зная зачем и почему. И даже кино снимали по этим романам. Был такой кинорежиссер, по фамилии Пырьев, так он снял фильм «Кубанские казаки» и фильм по роману Достоевского «Братья Карамазовы». Иному человеку такое покажется уму непостижимым, а на самом деле ничего удивительного, потому как все по Достоевскому и есть.

XIV. День накануне

Авдей Ворона проснулся чуть позже Петра Строева и Виктора Ханевского. Все в хате еще спали. Вчера с утра закончили работы в поле, а вечером ездили в гости к старшей дочке, вышедшей год назад за одного из Вуевских. Сегодняшний день был тоже полупустой, завтра – праздник, Сдвиженье, поэтому Авдей решил съездить в сваты посмотреть девку за старшего сына, он пообещал ему еще в начале осени, но даже жене не сказал когда, хотя знал, что перед Сдвиженьем, в самое неработное, пустое время.

Авдей тихо, не разбудив жену, вылез из-под теплого, тяжелого одеяла, оделся и вышел во двор. Небосвод высоким куполом, опираясь о частокол ограды и темный, черный лес, уходил высоко вверх, на западном его склоне едва виднелись звезды, восточная часть просветлела, солнце уже, наверное, начало всходить, пока еще спрятанное за лесом.

Огромный черный пес подбежал к хозяину, поднялся на задние лапы, а передние положил ему на грудь. Авдей взял пса за ошейник, отвел к будке и набросил защелку цепи на кольцо ошейника. Жук – так звали собаку – встряхнулся, звякнул цепью и сразу же полез в будку.

Авдей прошелся по двору, отпер добротный, срубленный лучше иной избы сарай и зашел к лошадям. Лошадиные стойла отделялись от коров и свиней глухой стеной. В углу

стоял Сивый, старый и немощный, доживавший свой век по милости Авдея. С Сивым Авдей поднимал хутор и теперь держал его как некоторые хозяева держат дряхлых, ни для чего не годных собак, не сгоняя их со двора. Три лошади, крепкие, досмотренные, толковые, стояли в своих стойлах. Четвертое стойло занимал красавец жеребец, купленный две недели назад за четверть цены.

Ходили слухи, будто будут отбирать лошадей, и цены упали, и Авдей купил четвертого коня (не считая Сивого). «Яки дурны народ», – подумал Авдей, вспоминая покупку. «Дурны» на местном диалекте означало «глупый». Слухи слухами, но продавать за бесценок такого жеребца – Авдей не верил даже спустя несколько дней, что вот так, ни за что ни про что разжился такой лошадыю. «Коней отбирать... Кто ж отдасть коней...» – покачал головой Авдей.

Не успел Авдей вернуться от лошадей в дом, как из-за леса показалось солнце, а в Мстиславле, в казарме, временно расположенной в бывшем монастыре, на час раньше обычной побудки подняли сотню красноармейцев. Им выдали боевые патроны, суточный паек, и они начали рассаживаться по телегам: в Рясну красноармейцы должны были приехать часам к шести, чтобы потом, когда начнет темнеть, отправиться по хуторам и деревням согласно списку.

Стефка Ханевская, благодаря которой и есть возможность писать эту топографию, ради которой эта топография и пишется, потому что она (Стефка Ханевская) победила, выжи-

ла и не дала себя уничтожить, сжить со света, этим утром проснулась позже всех. Всю ночь она уговаривала Младшего Брата бежать, и он уже почти соглашался (так, по крайней мере, казалось).

Стефка отпустила его перед самым рассветом и уснула, чтобы проснуться часов в десять, когда Сырков уже положил на стол в волостной управе лист бумаги и вписал в окончательный список тех, кого убивать, первые фамилии.

XV. Иван Дурак и Ванька Каин. Кто такие русские люди

Так начался тот день. И пока он только-только начался, пока Петр Строев еще не поднялся с постели, вспоминая Солдатку и старика отца, пока Виктор Ханевский еще не успел выйти из дома, а Авдей стоял в сарае у своих лошадей и насмешливо думал: «Кто ж это отдасть коней», а сотня красноармейцев только уселась на телеги, а Стефка безмятежно спала, у меня и есть это время – целый день до самой темноты, – чтобы составить подробную топографию той Погромной ночи, одной из ночей того Погромного для русских века, когда их, русских, убивали за то, что они русские*, и живут на своей земле, и не хотят стать нерусскими, и не согласились жить за штаны и миску супа.

** Русские – это народ, издавна, а то и издревле живший в России. Непонятно чем влекомый или подталкиваемый, он расселился до самого Тихого, или Великого, океана и даже одно время добрался до Америки, до самой промерзшей, занесенной снегом ее части – Аляски. Это такой же народ, как англичане, немцы, французы или испанцы в Европе, или как персияне, индусы, греки, римляне, или какие-нибудь египтяне в древности, но в то же время имеющий ряд отличительных черт и занимающий между другими*

народами совершенно особенное положение.

Характерные черты их (русских) следующие. Они ленивы, до многого доходят только задним умом, хотя иногда проявляют необычайную сообразительность и смекалку. По большей части любят выпить, болтливы, хвастливы, в деревнях обычно сидят на завалинках, в городах любят собираться за самоваром и рассуждать о чем-нибудь необыкновенном и очень важном, часто говорят про матушку-Русь, Россию, называя ее Рассеей, очень терпеливы, могут снести-вынести все на свете, по праздникам разгульны до безобразия, в работе часто бестолковы, нерасчетливы, суеверны, косны, людей, умных и заслуженных, не уважают — уважают только странников, пустынников, любят юродивых, власть обходят стороной, стараясь закрыться от нее плечом, не соблюдают законов, вечно попадают в дурацкое положение и растерянно чешут в затылке, или, в лучшем случае, смиренно теребят бородавку или скребут подбородок.

Особенность положения русских между другими народами заключается в том, что все те, кто по разным причинам родились нерусскими, хотят ими, то есть русскими, во что бы то ни стало сделаться и готовы ради этого на всякие ухищрения.

Хитрее всех в этом преуспели простодушные и прямолинейные, на первый взгляд, немцы. Пользуясь тем обстоятельством, что их Германия находится не так уж далеко от России, они один за другим перебирались в Москву и селились в Немецкой слободе,

или Кукуй-городе, названном так в насмешку русскими, любящими пошутить и посмеяться, особенно над иноземцами, обычно не понимающими по-русски.

Знаменитый русский историк Карамзин, вопреки распространенному мнению, считал, что в слове «кукуй» ничего смешного нет и вообще оно даже и не русское, а немецкое и переводится как «глядеть». Это малоправдоподобно. На что и куда глядеть немцам, сидя на берегу реки Яузы? И немцы не глядели, а торговали вином и хмельным медом.

На самом же деле ясно как день, откуда взялось слово «кукуй». В Россию немцы приехали все-таки издалека, из Германии, и назад им неблизко, вот и сиди тут и кукуй вдали от своего фатерлянда – так у немцев называется родина – родные, милые сердцу места, они там, далеко, на них и глазком не взглянуть, а сердце, оно ведь и у немца тоже не пружина, домой хочется всякому.

Позже немцы пообжились, пообвыкли, понавезли из Германии разных диковинок, особенно механических, вот тогда стал к ним заглядывать и молодой царь Петр I вместе с подъячим Зотовым, определенным еще ранее к царю учителем грамоты.

Это, к слову сказать, был тот самый Зотов, впоследствии граф и тайный советник, вздумавший в семьдесят пять лет жениться на молодой и веселой вдове капитана Стремоухова. Даже сам царь вначале решил, что старик выжил из ума, а потом, по здравому размышлению, согласился: кто, мол, не

хочет жену помоложе. Многие тогда посмеивались над Зотовым, а люди рассудительные полагали, что через свое неумеренное пристрастие к молодому, а потому жаркому и обильному женскому телу Зотов сократит свои дни пребывания в этом мире, без меры растрачивая старческие и без того слабые силы, однако все вышло как раз наоборот и Зотову неожиданно для него самого открылся секрет, если не бессмертия, то долголетия, питаемого теплом молодого женского тела. Подробнее об этом будет сказано в последующих главах. После свадьбы царь Петр I возвел Зотова в сан всеиудейского патриарха всея Кукуя, и с тех пор немцы при веселом пьянстве и разных новшествах приобрели много воли и, будучи близки к царю, совсем освоились в России.

Тем не менее, в Москве им простору не давали, потому что русский человек, особенно купец (а в Москве как раз много купцов), иной раз вперед себя пропустить тоже никого не желает, даже и немца.

Тогда по наущению немцев царь Петр I и построил в чухонских болотах Петербург. В нем немцев – и булочников, полусонных по утрам с их васиздасами, и сапожников – развелось множество.

Особенно отличились сапожники. Они, не в пример русским сапожникам, шили сапоги из хорошей кожи и, имея с того хороший заработок, напивались каждую субботу до полного бесчувствия так, что это даже описано у писателя Гоголя, и появилось ходячее выражение «пьян, как немецкий сапожник» и «пьет,

как немецкий сапожник». Слово «немецкий» потом по невнимательности русских ко всяким иностранцам выпало, и так стали говорить обо всех сапожниках, в том числе и о русских, хотя они и отличались от немецких тем, что, благодаря своей сметке и сообразительности, шили сапоги из гнилых кож с тайной мыслью разбогатеть одним разом, но выпить они тоже любили и не хуже немцев могли взять сверх меры (мера равнялась тогда двум ведрам, или десяти штофам, что составляло ровно сто чарок – и так чарочку за чарочкой, а если было желание растянуть это удовольствие, то отмеряли получарками, в народе называемыми косушками). Однако не все так удачно успели, как когда-то немцы. Русские огородили свои земли где обычным плетнем, где добротным частоколом, как на хуторах.

В русские по-прежнему пускали, но уже не всех, а часто на выбор. Этим ведали старый конторщик, который записывал всех в разлинованную конторскую книгу: кто, откуда, почему подался в Россию, и пожилой лабазник в поддевке, сапогах, рубахе в горошину и в помятом картузе. На поясе у него висела связка ключей от амбарных замков. Лабазник был высокий, метра два ростом, с большим животом, с красным, часто недовольным, будто после дневного прерванного сна лицом. Когда он хмурился, то к нему было лучше не соваться.

Правда, после обеда, взяв сто грамм водки и волю наевшись пшеничных блинов, откушав перед

этим тарелку кислых щей, запавленных сметаной и сваренных с бараньим боком, он выглядел веселее, отличался сговорчивостью и некоторым делал поблажку. Но не все догадывались попасть после обеда. В результате появилось много недовольных, которых так и не зачислили в русские.

Их раздражало и то, что лабазник не смотрел ласково, и то, что конторщик дотошно расспрашивал обо всем, да еще и записывал в свою книгу, и то, что русские ленивы и бестолковы и не умеют жить, а главное то, что они огородили свою землю забором, частоколом, как какие-нибудь хутора́не, и занимают ее, эту свою землю, ходят по ней, а зимой еще и ездят на тройках с колокольчиками, распевают песни, смеются с развеселыми красавицами, а эти красавицы жмут им, пылая и дрожа, руку под соболей шубкой, а потом еще и пьют шампанское прямо на морозе.

По словам Акима из Зубовки, все это и привело к тому, что стали придумывать способы, как перевести русский народ. Но ни один из этих способов не помогал, во многом из-за обширности русских земель, размерами превосходивших Римскую империю, как это заметил тот же писатель, Николай Васильевич Гоголь, часто бывавший в Италии, где в древности и находилась эта Римская империя.

XVI. О замыслах погубить русского человека

Взгляды официальных и авторитетных историков и философов на дальнейшую судьбу русского народа крайне противоречивы и настолько путаны, что их даже невозможно пересказать. Из всего, что я слышал об этом, только рассказ Акима из Зубовки, который он не однажды повторял на базаре в Рясне, обычно при большом стечении слушателей, дает более-менее вразумительное представление о том, что произошло с русскими.

– Задумано было погубить русского человека, – говорил Аким, слушатели теснее сжимались вокруг него, тень тревоги пробежала по их лицам, тогда (а это были двадцатые годы двадцатого столетия, первого десятилетия того Погромного века) еще все, кто приходил по воскресениям в Рясню на базар, чувствовали себя русскими.

И поэтому весь базар собирался вокруг Акима, жители Рясны и окрестных деревень сбивались в огромную плотную толпу, все умолкали, напрягали слух, стараясь через головы увидеть рассказчика, те, кто приехал на телегах, стояли на них в полный рост, им, по крайней мере, хотя был хорошо виден сам Аким, и по выражению его лица, и по его жестам они догадывались о том, что не удавалось расслышать.

Особенно плохо было слышно стоявшим в последних рядах, они то и дело робко переспрашивали у соседей, на них шикали, и они смущенно умолкали, поднимались на цыпочки и, вытягивая вперед шеи, затаив дыхание, ловили каждое слово, но корзины с товаром держали крепко, и, тем не менее, Семка-Хомка, уже давно на память знавший рассказ Акима, умудрялся воровать у баб из корзины яйца и, набрав полные карманы, успевал по несколько раз относить их к себе домой.

— Задумали иноземцы, — продолжал Аким, — земли, мол, у них много, живетсЯ им, мол, привольно. Надо все переиначить, сжить их со свету, а землю заселить иностранцами, их ведь на белом свете полно, почитай без счета, а своей земли у них мало. Народ, он, известное дело, что стадо овец. Его перерезать не трудно, были бы волки. Но тут царь стал за свой народ. Они и так и этак, а царь — это тебе, брат, царь, не мужик-лапоть — стоит крепко, народ не выдает, а обойти его никак невозможно.

Хотели убить царя: бомбу бросали — не помогло. Из револьвера стреляли — а тут случись мимо проходить простому крестьянину. Видит он — в царя стреляют. Встал против револьвера, стреляй, говорит, в меня: царь у нас один, а крестьян много. Ну злодею какой толк крестьянина убивать, их и в самом деле в любой деревне, в каждой избе по несколько штук — ему царя надо. Просит крестьянина отойти, но крестьянин отвечает, мол, не сойду с этого места. Пока они так меж собою препирались, полиция тут как тут,

налетела, да и заграбастала молодца, да и в каторгу его, в каторгу.

Царь потом велел позвать этого мужика, проси, говорит, что хочешь. Ну, мужик развел руками: «Был бы ты, батюшка, здоров, а мы за тобой завсегда проживем». Царь велел дать мужику сто рублей чистым золотом, отвезти домой на царской рессорке и смотреть, чтобы этому мужику впредь никаких утеснений никто не мог чинить, даже волостное начальство.

Видят, не получается царя убить. Тогда пустились в разные хитрости и надоумились взбунтовать народ. И стали выжидать такого случая. На тот грех царь уехал в другие страны. А воеводы и бояре, которым в отсутствие царя порядок блюсти положено, проворовались без царева присмотра, как только могли. Вот им и подсунули изменника. Он их воровство покрыв, а воеводы да бояре его за царя перед народом и выставили.

Народ темен, а правду брюхом чувствует: не тот царь, и все тут, своего, оно, за версту видно. А изменник давай народ притеснять, чтобы довести до бунта, без всякого смысла и пользы. Но народ в вере тверд, притеснения терпит, на Бога надеется, да от истинного царя защиты дожидается.

Созвал тогда изменник чернокнижников, так мол и так, какую хотите казну выдам за наущение, как русский народ обойти. Чернокнижники крутили, вертели, а ничего придумать не смогли: «Мы, говорят,

и раньше рады бы русского человека со света сжить, но он надежсею на царя силен, царской защитой крепок, взять его ничем невозможно, хоть сто лет голову ломай».

А нашелся среди этих чернокнижников один самый зловердный, который даже с чертом родство имел. Вот он-то и шепнул изменнику на ухо: «Народ русский победить можно, только ежели он сам друг на дружку пойдет. А для того вели им всем бороды остричь – они сами себя не узнают, да один другого и погубят».

Издад изменник указ, чтобы всем бороды стричь и в немецком платье ходить, тех, кто ослушается – батогами бить да плетьюми сечь. Но тут как раз царю наскучило в иных государствах пребывать, он без повестки в Москву и явись. Изменник с перепугу в окно выскочил и разбился в блин, только мокрое место осталось.

А воеводам и боярам, которые успели бороды сбрить, царь саблею головы посрубал: не сохранили бороды, покатались ваши и головы. Только царю от того радости мало. Стал он крепко задумываться, как народ свой сберечь. И с разными вельможами советоваться:

«Так, мол, и так. Рано или поздно умру. Наследник мой совсем молод. Как бы враги не окрутили его каким-нибудь обманом и не погубили бы русского человека». Вельможи его успокаивают, а сами – чуть отвернись – народу беспрестанно всяческие притеснения творят.

XVII. Старик со старухой

А жили в то время в далеких сибирских краях старик со старухой. Как-то раз принес старик из тайги маленького соболенка. Зверек прижился в доме и стал ручным. Вот старик и говорит старухе:

— А что, старуха, жили мы с тобой ладом да миром, прожили почитай уже лет сто, а царя своего не видели. Пойдем-ка мы в Москвуматушку, отнесем царским детям в забаву ручного соболя, а там случаем и царя увидим.

Так из самой что ни на есть Сибири пешочком, потихоньку и отправились. Переночевать да передохнуть у добрых людей останавливались, потому как добрых людей тогда не в пример позднейшим временам на Руси было много. Ну вот пришли старик со старухой в Москву, да и спрашивают, как в царский дворец попасть. Какой-то купец разъяснил им, что царь уже давно пребывает в Петербурге.

Опечалились старик со старухой. Дальше идти у них уж никаких старческих сил нету. Но купец, узнав, зачем они к царю собрались, умилился их простодушию, купил билеты на поезд, посадил их в вагон да и отправил в Петербург по железной дороге.

Явились старик со старухой в царский дворец, предъявили соболя, к ним сразу же чиновники и разные вельможи со всех сторон приступили. Мол, мы

зверька сами царским детям отнесем, а вы ступайте с Богом домой. Только взяли соболька – а тот прыг да по всем залам, никому в руки не дается. А как старик позвал, он сразу к нему. Ну, делать нечего, допустили старика со старухой к царю. Отдали они царским детям соболька, те давай с ним играть, а царю и царице от того приятно на них смотреть. Но только придворные на миг отвернулись, старик и говорит царю:

– Надобно мне, царь-батюшка, тебе просьбу передать, да чтобы никто нас не слышал, а уж особенно твои чиновники да вельможи. Царь за своими придворными давно грех знал, поэтому незаметно отвел старика в свой царский кабинет, дверь на ключ запер и спрашивает:

– Какая у тебя, старик, ко мне надобность? За твое уважение и к детям моим внимание я люблю твою просьбу исполню неукоснительно, проси, чего хочешь.

– Самому мне с моей старухой ничего не нужно, – отвечает ему старик. – Мы тебя на свои глаза повидали, нам и того довольно. Только когда шли мы сюда, то в одной деревеньке в Тверской губернии остановились на ночлег у старичка. Этот старичок на ноги совсем ослаб, до тебя дойти не может и просит, чтобы ты нашел такую возможность сам к нему приехать, потому как он должен рассказать тебе, какая пагуба грозит русскому человеку, а ты бы, зная то, свой народ и уберег. Только так надобно все хитро устроить, чтобы разговора с ним твои министры не

слышали, уж коли они прознают, то тогда ничем не упасешься – им любое неустроение в государстве в радость ради воровства, а труды на государеву пользу в тягость.

Поблагодарил царь старика, велел подарить ему со старухой в память золотые царские часы и за царские деньги доставить домой. А сам на другой день объявил, что хочет, мол, посетить Тверскую губернию. Придворные почуяли неладное, давай царя отговаривать: там, мол, дороги плохи.

– Вот я и посмотрю, какой у меня в государстве за дорогами присмотр, – ответил царь и приказал закладывать царскую тройку.

XVIII. Старичок долгожитель

Когда прибыли в Тверскую губернию, царь как будто невзначай и остановился в той деревеньке, которую ему старик указал. Собрались крестьяне, царь и спрашивает старосту, как урожай, как крестьянская жизнь, и нет ли у них долгожителей. Староста отвечает, что урожай, слава Богу, хороший, потому как в этом году дожди шли в пору и солнышко когда нужно пригревало, живут они, благодаря его царскому величеству, смирно и справно, а из долгожителей в деревне имеется один старичок. Он уже на ноги слаб, дальше своего двора не ходит, а прожил он столько, что помнит не только царского дедушку, но и прадедушку.

– Ведите меня к нему, – приказал царь, – мне бы интересно знать, как жили во времена моего прадедушки.

Пришли к старику, царь спрашивает, сколько ему лет.

– Не упомню, – отвечает старичок, а сам сразу же сообразил, что это царь по его просьбе приехал.

– Но ведь ты в церкви крещен? – спрашивает царь.

– Крещен, царь-батюшка, все мы крещеные.

– Значит в церкви о том полагается запись, – говорит царь своим придворным: – Немедленно узнать и доложить мне.

Бросились те со всех ног выполнять царский приказ, а царь зашел к старичку в избенку, сел на лавку под образами и давай старичка слушать. А старичок ему и рассказывает:

– Слыхал я от старых людей, которые доподлинно все знают, что грозит русской земле большая беда. А произойдет она от единоутробных братьев Ивана Дурака и Ваньки Каина, что родились в нашей деревне. Иван Дурак живет в крайней хате у самой околицы. А Ваньку Каина в малолетстве украли цыгане. Лицом они несхожи, только у обоих на груди под сердцем родинка. В Иване Дураке никакого зла нет, он и грамоте научен, он и мухи не обидит, и по простоте своей никому не соврет, и слова плохого не скажет. Брата своего он и в глаза не видал. Но коли судьба сведет его с Ванькой Каином, тогда не минует погибель русского человека.

– Это какой же Ванька Каин, – спрашивает старичка царь, – не тот ли, который многими злодействами и преступными умыслами известен и посажен в острог под семь замков?

– Тот самый и есть. Только он давно не в остроге, а гуляет на воле, потому как знает способ менять обличье. А в остроге в его шапке и кафтане сидит ни в чем не повинный солдат. Когда Ванька Каин по недосмотру начальства из острога уйти сумел, так этого солдатика вместо него и посадили, чтобы от тебя свое нерадение скрыть. А Ванька Каин сегодня в кабаке с ямичиками в карты играет, а завтра с министрами. И никто его отличить не может, пока

он не убьет Ивана Дурака, своего брата. Тогда всякая личина с него спадет и все его узнают. Только если это случится, настанут страшные времена и погибнет русская земля, простота хуже воровства окажется, и сведется на нет русский человек.

Опечалился царь такому рассказу:

– Что же мне делать? – спрашивает старичка, – ты много на свете прожил, может, мне какой умный совет посоветуешь.

Развел старичок руками:

– Я, – говорит, – в самом деле много чего видел за свой век, много о чем слыхивать довелось, многое знаю, да не все. И как тут быть, чтоб не допустить напасти – ума не приложу. Говорят, что в одной дальней деревеньке жил один хитроумнейший старик – вот тот доподлинно все знал, да он уж давно помер. А я что слыхал, то все тебе передал, а дальше думать это уж твое царское дело. Но вот тебе мой последний сказ: пище всего смотри, чтобы не брили бороды. Будут целы бороды, уцелеют и головы.

Вернулся царь в Петербург. Разговор со старичком из головы нейдет. Думал он, думал, да так ничего и не придумал, а посоветоваться не с кем, своим придворным он уже давно веры не давал, потому что стороною был наслышан о тех притеснениях, которые через них народ терпел.

Но имелся у царя один министр, который из гордости и надменности никогда не воровал, за что его все придворные ненавидели лютой ненавистью.

Уж больно тяжел был характером, даже царь его сторонился. Но тут деваться некуда, пришлось царю к нему за советом идти.

Министр этот себя умнее всех на свете почитал. Вот он-то и надоумил царя забрать Ивана Дурака во дворец, чтобы тот при царе все время находился и тем самым от встречи с Ванькой Каином был бы сбережен. А то невдомек, что Ванька Каин давно уж в другом обличье при царском дворе отирается.

Привезли Ивана Дурака во дворец, придели, так что от других придворных не отличить. Только не сообразили ему никакой должности определить, чина-звания. Но по первости всем, кроме вельможей да придворных, получились удобство и выгода, от которых во всем государстве единственно улучшение. Чуть что произойдет – придворные тут же царю доложат, а сами перевернут так, чтобы им в выгоду, а народу – терни. Но царь потихоньку пойдет к Ивану Дураку. Тот врать по своей простоте никак не может. Он всю правду царю и выложит. Царь придворным нагоняй устроит, так что три дня очухаться не могут, а народу через то полегка.

XIX. Злодейские промыслы Ваньки Каина

Но недолго так продолжалось. Пришло время, умер царь, заступил на престол наследник. Годами он был молод и по несмышлености возьми да и женись на иноземке. А эта иноземка прибыла во дворец, увидала Ивана Дурака, да и спрашивает придворных, что здесь, мол, Иван Дурак делает и кто определил ему в царском дворце находиться. Ну придворные и без того Ивану Дураку завидовали и тут же ей расписали, что и должности чина-звания у него никакого нет, а во дворце он находится по некультурной прихоти только что умершего родителя молодого государя.

Иноземка знала, что старый царь не хотел того, чтобы сын брал ее в жены, и, помня то, а также по своей немецкой безразличности приказала Ивана Дурака из дворца выселить и поместить при лошадях на конюшне.

Тут он и сошелся с одним лакеем, находившимся у молодого царя в услужении по разным нехорошим делам, потому как ввиду занятости старого царя наследник сызмальства рос без строгого родительского присмотра, а тот лакей многим его дурным наклонностям нарочно потакал, а пуще всего пристрастил к картежной игре и, видя его слабость, давно имел злой умысел над своим хозяином взять

власть и силу. А шло все так, потому что этот лакей и был не узнанный Ванька Каин, тот самый, своими злодействами знаменитый, но в другом обличье, так как имел такое свойство кем угодно сказаться.

Вот однажды этот лакей и подбил Ивана Дурака сыграть с ним в карты на шапку и пояс, зная, что денег у того по его простоте никогда не имеется. Как ни сядут играть – Ивану Дураку нужная карта идет, а Ваньке Каину – проигрыш. Попробовал Ванька Каин разные штуки, которые у шулеров водятся, в ход пускать, да ничего против дуракова везенья поделать не смог. «Знать, такова планида, что дураку всегда везет», – подумал Ванька Каин и решил тем самым свои черные дела устроить.

Молодой царь тогда уже совсем ему в руки дался через свою несдержанность к картам. Свел Ванька Каин царя с Иваном Дураком в карты играть и проиграл царь Ивану Дураку и всю казну и полцарства. Проиграл, а отдать не может, потому как и царство, и казна не царские, а только у царя в сбережении находятся, за царство ему перед Богом ответ держать, а за казну перед министрами оправдываться. И отказаться от того, что случилось, тоже нет возможности, потому как царское слово дадено, его ничем не отменишь, а не ровен час кто-нибудь обо всем узнает, стыда да скандала не оберешься.

Вот тогда Ванька Каин и говорит царю:

– Надобно это дело скрыть. Мы тайну сохраним, а

ты отдай нам свой государев перстень в залог долга, а уж потом разочтемся.

Опечалился царь. Известное дело, кому этот перстень доверен, тому в государстве все открыто и все подвластно как первому царскому наместнику. И сам царь без этого перстня вроде как не у дел, а только для соблюдения церемонии. Ну да что делать. Картежная игра никого до добра не доводит. Отдал царь государев перстень Ивану Дураку и ушел в свои покои. А Ванька Каин взял красного вина, налил в него яду и говорит:

– На, Иван, выпей.

– Я вина с малолетства не пью, – отвечает ему Иван Дурак.

– После такого случая обязательно выпить надо, а то удача от тебя отвернется, – настаивает Ванька Каин.

Иван Дурак был уступчив, послушался, взял да и выпил. Увидел это Ванька Каин и дальше:

– А что, Иван, отдай ты мне государев перстень. У тебя в конюшне затеряется где-нибудь. А я положу в шкатулку, у меня сохраннее.

Иван Дурак, простая душа, перстень и отдал. Забрал Ванька Каин государев перстень, и весело ему сделалось, оттого что он все так ловко устроил: и царь у него в руках, и Ивана Дурака он погубил, а с перстнем теперь твори, что только захоти, и вздумал он над Иваном Дураком покуражиться, понасмехаться волю.

– Вот ты, Иван, и крепок, и здоров, и в молодых летах, – говорит Ванька Каин. – А скажи, как думаешь, много ли тебе еще на белом свете жить в свое удовольствие?

– Сколько кому жить отпущено, то человеку неведомо, – отвечает ему Иван Дурак. – Но слышал я от одного умного старичка, что жить мне долго на белом свете суждено, если не умру по вине родного своего единоутробного брата.

– А где ж твой родной брат и как его зовут? – побелел как полотно Ванька Каин.

Помнил он, что, когда жил в цыганском таборе, старая цыганка рассказывала ему, что как только поднимет он руку на своего единоутробного брата, так перестанет быть неузнаваем и всякий встречный без труда поймет, что он-то и есть Ванька Каин.

– Как брата моего зовут я не знаю, потому что еще до крещения и наречения имени его украли цыгане, – продолжает Иван Дурак, – и где он пребывает тоже не ведаю. Известно мне только то, что узнать нас обоих можно по родинке ниже сердца.

Рванул Ванька Каин у Ивана Дурака рубаху, увидел родинку и, весь дрожа, говорит:

– Так я и есть твой единоутробный брат, Ванька Каин. А вино, которое я тебе подал, отравлено смертельным ядом, и жить тебе осталось несколько минут.

– Эх, Ваня, Ваня, – покачал головой Иван Дурак, – что ж ты наделал, ведь через то

сбудется предсказание, и начнется теперь на Руси братоубийство, и никто не остановит его до самой последней гибели русского человека от врагов его.

Но Ванька Каин уже не слышал этих слов. Возопил диким голосом, схватился руками за голову и, ничего не помня, побежал куда глаза глядят. Обличье напуганное с него вмиг спало, а тут навстречу по улице двое полицейских, один другого локтем под бок:

– А ведь это Ванька Каин! – хвать его, да и в острог.

Только уж поздно. Началось, как и было предсказано, в государстве неустроение. Многие злобы всплыли наружу. Народ замутился. Пошли разные слухи и про Ивана Дурака, и про Ваньку Каина. Кто кого жизни лишил, так никто и не понял. Одни одно говорят, другие – другое. Убили, мол, Ивана Дурака, так в том беды нету, а греха и подавно. Теперь убивать, мол, кого хочешь дозволено.

А Ваньку Каина в остроге держать незачем, он – удалец, о нем песни поют. Тут как раз германская война и начнись. Народ на войну пошел в бородах. С войны – подбородки голы. Сосед соседа, сын отца признать не могут, русский русского за немца принимает, свой своего не узнает. Свершилось наущение чернокнижников. Началось убийство русского человека. Царь мог спасти свой народ. Но царица ему говорит, мол, уедем для спокойствия в другие земли. Царь ей разъяснял, что хотя за ним и много греха, а только его царская обязанность жизнь свою в таком случае за народ отдать. Но царица и слушать не

захотела.

Тогда царь отрекся от народа, чтобы и свою, и царицы жизнь спасти, и своего семейства. Но как только он отречение подписал, его тут же схватили и убили вместе с царицею и малолетними детками, потому что после отречения никаких на нем царских знаков уже не было.

А как стало известно, что убили царя, так и бросились убивать всякого, кто хоть каким-то боком был русским. И тех, кто бороду не сбрил, и тех, кто поторопился ее сбрить. Вот тут и вспомнили того старичка, который обо всем предупреждал, да уж за локоть не куснуть.

XX. Сколько убили русских людей в Погромный век

Сам Аким из Зубовки был хотя и с редкой, но с бородой, и как его не убили, можно только удивляться, потому что русских убивали уже который год того Погромного века, день за днем, ночь за ночью, травили как зверя по лесам, выискивали, находили и убивали, догоняли, хватали: «А, ты русский!» – и убивали, и мало кому удавалось скрыться, спрятаться и жить так, как раньше жили русские, многие, боясь смерти (кто же ее не боится, ее боится всякий), пытались-пробовали отговориться, отказаться, убеждая и клянясь (и сами даже верили), что, мол, они не русские и согласны жить за штань и миску супа, но их все равно убивали по малейшему подозрению.

Убивали и понаубивали миллионов сто – сто пятьдесят. Эти подсчеты неточны, как все у русских, это немцы умеют считать и подсчитывать точно до зернышка, до соломинки, до гвоздика, даже самого маленького, а русские безалаберны, в подсчетах неаккуратны, они даже и не считали, ссылаясь на то, что вести такой учет некому, да и какая радость от этих подсчетов.

И ученые люди, любящие точные цифры, сошлись на том мнении, что убили миллионов сто, плюс – минус пятьдесят миллионов, исходя из того, что их

(русских) столько приблизительно и было, и убили, или переиначили, или извели каким другим способом именно столько, потому что большие не нашли, а кто остался, тех заставили жить за штаны и миску супа.

Одну только Стефку Ханевскую не удалось убить – сначала никак не могли отыскать, хотя и перевернули всю страну, а когда все-таки нашли – не осилили; ее спасла ворожба ее родной прабабки Стефании и веночек из ромашек, васильков и колокольчиков, который ей разрешили самой сплести те никогда не стареющие девчата, что живут на лесной опушке за Вуевским Хутором и плетут всем веночек-судьбу.

Забор, которым русские, хотя и нехотя отгораживались, поломали, лабазнику всадили в упор несколько пуль, он только охнул и осел, удивленно выпучив глаза у стены амбара, ключи у него с пояса сняли, амбары и лабазы открыли: бери кто что хочешь, конторщика пристрелили просто мимоходом, книгу его порвали и выбросили, а как учета никакого нет, то тащи, неси все кто что может.

И прошли год за годом те годы Погромного века, и не стало русских, а если где и были, есть, то так мало, что их и не заметишь, людей много, а русских нет, последние встали вместо первых, имение разорено, и все покрыто срамом и позором, а те, кто остались на том месте, где жили русские, уже давно не русские, да и не хотят ими быть, а многие и не слыхали о них, да им и не надобно, да они и не похожи, у них своя жизнь и свои заботы-хлопоты дали бы штаны и миску супа.

Говорят, что из тех, кто остался после Погромного века, когда-нибудь позже, через какие-нибудь годы, а то и века, соберется какой-нибудь народ, некоторые даже считают, что это опять получатся русские и они не будут бояться так называть себя, – тогда, через многие годы, когда-нибудь.

Вот какие беды и напасти навалились на русских накануне и после Погромной ночи, в чем они в силу их простодушия и добросердечности никогда не были виноваты и пострадали исключительно через свою доверчивость, несообразительность и привычное недомыслие. Во всех их бедах виноваты только царь, неуправившийся со своей царской должностью, Иван Дурак и Ванька Каин, рассказ о них Акима из Зубовки и приведен выше в кратком изложении. Подробности и разного рода детали будут помещены в других местах топографического описания, как только в них возникнет необходимость.

[* * *]

– Но как же так? Почему люди вдруг начинают разрушать свою страну, разваливать и крушить все, что попадает под руку, поджигать свой собственный дом? Ведь была же страна, жили же люди, и хотели жить, а не разорять, и не погибать.

– Хотите знать причины?

– Да, ведь это повторяется, а если известны

причины, то можно предупредить все эти ужасы, предотвратить их.

– Причин несколько, но четыре из них самые главные. Первая – это тот старик в белых одеждах, который лепит из гончарной глины людей, и иной раз слепит такое, что и самому было бы стыдно, если бы пришлось увидеть, что происходит потом, но ему некогда и он никогда не отвлекается от своей работы, потому что торопится так, словно не успевает к назначенному сроку.

Вторая причина в неустроенности. Многие люди от лени, и оттого, что тоже, как тот старик в белых одеждах, торопятся, хотя им-то торопиться особо некуда, и в результате все делают то криво, то косо, а то и вовсе не подумав о последствиях. И получается ненадежно, недолговечно, шатко и хлипко, так что и самому не на что посмотреть. И начинает рушиться и разваливаться.

Третья причина заключается в умопомрачении. Умопомрачение случается от слабости ума, слабости ума все стесняются, поэтому умопомрачение называют другим, каким-нибудь непонятным словом, обычно иностранным. Чаще всего умопомрачение называют словом «революция». В переводе это значит «вращение». Сначала в голове наступает какое-то помрачение, потемнение, общая слабость, в голове начинает что-то вращаться и происходит переворот с ног на голову.

Это и есть революция, и революционеры – люди

с перевернутыми мозгами. Они все переворачивают, чтобы не только у них мозги, но и все и вся было перевернуто с ног на голову, а всех, кто не хочет, чтобы все переворачивали с ног на голову, убивают из револьверов, специально для этого придуманных, и очень удобных, так как они скорострельны, действуют автоматически и безотказно.

Ну и четвертая, самая главная причина – в незастегнутой пуговице. Из-за нее все и происходит.

– Всего лишь из-за какой-то пуговицы?

– Не какой-то, а незастегнутой. Если хотите, могу это изложить подробно.

– Конечно хочу. Ведь это и важно, и поучительно, и даже просто интересно.

– Тогда слушайте. В истории России – Российской империи, огромной державы, изображаемой тогда на карте мира от Балтийского и Черного морей до побережья Тихого океана, произошли два события, которые предопределили ее судьбу. События эти были связаны с расстегнутой пуговицей. Первое случилось в конце сороковых годов XIX века, в Санкт-Петербурге, в училище Правоведения. Событие это известно в подробностях и даже запечатлено в словах того времени, описывающих его наиболее точно.

Нужно пояснить, что в училище Правоведения обучались выходцы из дворянских семейств, в первую очередь из семейств богатых и знатных, то есть таких семейств, которые уже по своему положению более ответственны за судьбы государства и его

устройство, чем выходцы из дворянских семейств менее богатых и менее знатных, и выходцы из семейств других сословий – крестьян, мещан, купечества, духовенства и рядового чиновничества. Поэтому царь – тогда в России царствовал император Николай I – с особым вниманием относился к училищу Правоведения и часто посещал его.

И вот до царя дошли слухи, что в училище Правоведения среди учащихся – в основном старших классов – ведутся недопустимые разговоры о том, что исполнение ныне действующих законов не всегда обязательно, так как многие из них не совсем хороши, и следовало бы их сначала улучшить, а уже потом исполнять. Более того, стали известны случаи пререкания учащихся с преподавателями и нарушения правил поведения.

Царь велел позвать к себе директора училища, князя Голицына, назначенного несколько лет тому назад на это место, до того числившегося генералом в отставке. Прежний директор, умерший в своей должности, был известен тем, что высоко чтил поприще правоведения и при нем в училище с давних пор – а прослужил он в своей должности почти сорок лет – установился дух некой торжественности и даже некоего священнодействия. Заступивший же после него Голицын был сух и холоден и как будто невнимателен и словно слегка рассеян, что охлаждало и многих преподавателей, и учащихся.

– Недопустимо, – сказал царь Голицыну, – чтобы в

училище Правоведения юноши вели вольные разговоры и кто-либо мог бы усомниться в необходимости исполнения законов.

Голицын отвечал, что слышал о подобных разговорах, но поскольку ученики старших классов уже почти прошли полный курс обучения, то нет ничего удивительного, что они высказывают свое мнение о том, чему их обучали. А что касается собственно законов, то некоторые из них действительно требуют уточнений и в существующем ныне виде могут вызывать претензии со стороны учащихся.

– Э, братец, – сказал царь, – да ты не пригоден к исполнению должности директора училища Правоведения.

Император Николай I отправил князя Голицына в отставку, а своим приближенным велел подыскать вместо него человека строгого и исполнительного. Один из придворных спустя некоторое время доложил царю, что знает такого человека.

– Кто же это? – спросил царь.

– Рижский полицмейстер Языков, но он только в полковничьем чине.

– Это легко поправить, – сказал царь.

Языкова без промедления доставили в Петербург. Царь пристально посмотрел ему в лицо и сказал:

– Вижу, что ты человек усердный, исполнительный и честный. Доверяю тебе училище Правоведения. Наведи мне в нем строгость и порядок, без того в державе могут случиться разные неустройства.

Языкова произвели в генералы и назначили директором училища Правоведения. Он явился в училище как грозовая туча и обошел классы. В одном из младших классов он увидел ученика, который стоял положив руки на стол.

– Как смеете так стоять! Не знаете устава! Руки по швам! – рявкнул Языков и ударил ученика по рукам.

Ученик – это был князь Меицкерский – вытянул руки по швам и чуть не умер от перепуга.

– Смотрите у меня! Вести себя как следует! А не то расправа будет коротка! – уже спокойно, но строго и твердо сказал Языков и вышел из класса.

При новом директоре училища к ученикам сразу же стали предъявлять требования почти военной выправки и дисциплины. На следующий день после вступления в должность Языкова надзиратель заметил в коридоре старшеклассника, который шел засунув руки в карманы, что запрещалось по уставу. Верхняя медная пуговица мундира ученика была вызывающе расстегнута.

– Выньте руки из карманов и застегните мундир как положено, на все пуговицы, – потребовал надзиратель.

– Разве я кому-нибудь мешаю? – ответил вопросом старшеклассник, но руки из карманов вынул.

– Прошу вас не рассуждать, – сказал надзиратель, – а исполнять приказание. Застегните верхнюю пуговицу.

– Не хочу, мне так удобнее, – ответил старшеклассник улыбаясь, и, глядя в глаза

надзирателю, с интересом ожидал, что тот предпримет.

Надзиратель доложил обо всем директору. Языков взорвался:

– Двадцать розг!

– Ваше высокопревосходительство, по уставу ученики старших классов освобождены от телесных наказаний, – заметил надзиратель.

– Собрать все училище!

Через пятнадцать минут все классы были построены в каре в актовом зале. В присутствии Языкова и преподавателей ученый секретарь зачитал приказ директора о переводе провинившегося в младший класс за неисполнение правил устава училища. Тут же принесли скамейку и розги и публично высекли виновного.

На следующий день его исключили из училища.

Событие произвело огромное впечатление на учащихся и преподавателей. Сами по себе телесные наказания не были чем-то из ряда вон выходящим. Учеников младших классов наказывали розгами довольно часто. В конце недели в каждом классе надзиратель читал список учеников, совершивших те или иные нарушения, объявлял и снимал замечания, а тех, кто провинился более серьезно, унтер-офицер отводил в лазарет, где под наблюдением полкового доктора и происходило наказание.

Но именно публичная порка в актовом зале остановила некое брожение, признаки которого уже

появились в училище. И впоследствии точность в исполнении предписаний устава и дисциплины стали считаться особой доблестью и традиционной, отличительной чертой училища Правоведения.

Ученик, исключенный из училища за незастегнутую пуговицу, по настоянию своего отца поступил в военную службу, дослужился до майорского звания и имел награды за участие в боевых действиях. Князь Мецкерский с отличием окончил училище, служил в сенатском департаменте и судьей Петербургского уезда, стал известным общественным деятелем и входил в круг приближенных императора Александра III. Он умер накануне Первой мировой войны и оставил после себя замечательные мемуары. Случай, произошедший в стенах училища Правоведения, сохранил Россию. Казалось, вроде бы незначительное событие, не оставленная без последствий незастегнутая верхняя пуговица мундира старшеклассника. А Российская империя просуществовала еще полстолетия. И существовала бы и далее, если бы не второй случай все с той же незастегнутой пуговицей.

Он произошел в одном из российских губернских городов уже в начале XX века и предопределил судьбу и русского государства, и русского народа, и других народов, живших совместно с ним.

В городской гимназии в апреле, в конце учебного года, в перерыве между уроками один из гимназистов старшего класса прошелся между рядами парт и

растегнул верхнюю пуговицу гимназической куртки, что по правилам, принятым в гимназии, делать строго запрещалось. Фамилия ученика впоследствии стала известна (позже он написал несколько книг в эмиграции).

Ученик этот вдруг почувствовал, что его охватывает какое-то непонятное чувство, до этого им ни разу не испытываемое. Ему неожиданно захотелось то ли что-то выкрикнуть, то ли пропеть во весь голос несколько слов из какой-то арии, то ли, взявшись за ворот растегнутой на одну пуговицу гимназической куртки, рвануть изо всех сил, так, чтобы пуговицы брызнули во все стороны, то ли удариться головой о стену, то ли плюнуть далеко вперед сквозь зубы, или, силясь с ног всех, кто попадется ему по пути, побежать через весь город к крутому берегу реки и броситься в воду.

Вместо этого он подошел к огромной черной классной доске и, несколько откинув назад голову, вперился в нее взглядом, словно не мог понять, что это перед ним такое.

Огромная черная классная доска почему-то представлялась ему символом мрака и орудием пытки, с помощью которого из года в год истязали гимназистов, а если не орудием пытки, то какой-то преградой, дверью, запиравшей выход из мрачного подземелья к свету. Он даже мысленно назвал ее экраном бессмыслия и жестокости. Хотя это была всего лишь обычная черная классная доска,

на которой белым мелом писали цифры и слова, чтобы гимназисты научились считать и писать без грамматических и синтаксических ошибок.

На гимназиста вдруг нахлынул прилив каких-то неукротимых, неудержимых сил, его охватило какое-то мгновенное возбуждение и даже неожиданно для самого себя он ударил ногой по одному из колышков, на который опиралась нижним краем классная доска. Колышек сломался и доска своим правым углом рухнула на пол, а гимназист, словно взбесившись в одно мгновение, начал пинать ее ногами.

Остальные гимназисты сидели в это время за партами и стояли у окна и не помышляли ничего ломать и бить. Но, увидев, как упала доска и как их одноклассник пинает ее ногами, и услышав треск, — классная доска под ударами разламывалась на куски — на мгновение остолбенели, а потом бросились к поверженной доске и начали бить ее ногами и тут же разнесли в щепы. Не всем хватило места подступиться к доске, и те, кто не успел протолкнуться к ней, стали переворачивать парты, сорвали с петель и разбили вдребезги застекленную входную дверь, сломали стол и кафедру, а потом принялись крушить изразцовую печь, выдрали железные дверки, ломая ногти, руками выворачивали изразцы и в несколько минут от печи осталась груда кирпичей.

На шум сбегались гимназисты из соседних классов и, столпившись у входа, с шальным блеском в глазах наблюдали происходившее, а оказавшиеся в задних

рядах подпрыгивали, чтобы увидеть, что делается в классе. Преподаватели, направлявшиеся в классы, — перемена, или, как тогда говорили, рекреация уже закончилась — торопливо, с испуганными лицами скрылись в учительской.

Переломав все, что можно сломать, и разбив все, что удалось разбить, гимназисты в перепачканной форме, пошатываясь словно с похмелья, с исцарапанными до крови руками, с пустыми, как будто не видящими глазами, разбрелись по домам.

На следующий день они собрались в коридоре гимназии. Их разрушенный класс был заперт глухой деревянной дверью. Гимназисты ничего не говорили друг другу, не обсуждали то, что произошло вчера, глаза их по-прежнему были пусты, казалось, они ничего не помнят, не осознают, что случилось и что будет дальше.

Ученики младших классов проходили мимо, бросая на них испуганные и восхищенные взгляды. Сторож гимназии, когда старшеклассники пришли рано утром, помогал им в шинельной снимать шинели, чего раньше никогда не делал.

Начался первый урок, преподаватели, стараясь не взглянуть в сторону старшеклассников, прошли в классы, двери классов закрылись. Наконец появился гимназический инспектор и, подойдя к толпе старшеклассников, первый поклонился им, не дожидаясь их поклона, и робко предложил пройти в физический кабинет. Когда все расселись за столы,

инспектор долго молчал, а потом, опустив глаза, как-то невнятно, слегка запинаясь, сказал, что сегодня занятия отменяются, но к завтрашнему дню класс приведут в порядок и хорошо бы спокойно приступить к занятиям, так как скоро выпускные экзамены.

Инспектор вчера вечером присутствовал на собрании преподавателей, на котором обсуждалось все произошедшее. Собрание затянулось до поздней ночи. Никто не хотел говорить. А у тех, кто говорили, не получалось сказать ничего определенного. Только один из преподавателей высказал мысль, что молодые люди, совершившие такой из ряда вон выходящий поступок, просто устали за несколько лет обучения и исполнения правил, порой бессмысленных и довольно стеснительных и даже жестоких для просвещенного юношества, и если вдуматься, часто противоестественных и препятствующих свободному развитию, и это в какой-то мере объясняет их выходку, конечно же, некрасивую и безобразную, но тем не менее, вполне понятную.

Директор гимназии – ему оставалось два года до пенсии – только несколько раз повторил: «Всем нам не поздоровится. И надо же этому случиться именно сейчас!» – и уже сегодня утром велел привести разгромленный класс в порядок и попросил инспектора обратиться к старшеклассникам с просьбой успокоиться, продолжить занятия и готовиться к выпускным экзаменам.

Выходя из физического кабинета, инспектор вдруг

остановился на пороге и сказал, не опуская глаз и не запинаясь, просто, как взрослый взрослым: «Что случилось, то случилось, и уж лучше и для вас, и для нас об этом не болтать».

Инспектор гимназии ошибся. Всем – и ему, и гимназистам стало не лучше, а хуже.

Инспектора гимназии спустя несколько лет убили в толпе беженцев в Крыму. А гимназисты тоже почти все погибли в годы гражданской войны и в эмиграции. А те, кто не погиб, с горечью вспоминали то, что случилось в гимназии.

А тот бывший гимназист, который первый начал громить классную комнату, часто не спал ночами и корил себя, и никак не мог понять, почему это вдруг ему показалось, что ворот гимназической куртки давит ему шею так, что невозможно терпеть и сдерживать себя, и он растянул верхнюю пуговицу, хотя это и не полагалось делать по правилам поведения. «Ах, Боже мой, – думал он бессонными ночами, – ну что стоило потерпеть! И почему не нашлось никого, кто строго наказал бы меня, да и всех нас за тот бессмысленный и беспощадный бунт, дикое и безудержное буйство! Ведь стоило только одернуть нас и мы бы пришли в себя и умопомрачение не охватило бы нас окончательно».

Его отчаяние понятно. Доподлинно известно, что, когда гимназисты на следующий день собрались в коридоре гимназии у двери разгромленного накануне класса, отрезвление еще было возможно и Россию и их самих еще возможно было спасти.

Стоило только посадить гимназистов в карцер, исключить из гимназии, взыскать деньги за поломанную мебель и сослать виновников в окраинные губернии, а зачинщиков беспорядков высечь розгами или, в крайнем случае, заточить в один из казематов, находящихся в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости, сырой и холодный, грозящий любому, оказавшемуся в нем, чахоткой и скорой смертью, которая принесла бы горе его родным и близким, но не коснулась бы других жителей обширного государства, раскинувшегося от трудопослушной Европы, с ее черепичными крышами и лязганьем станков на фабриках и заводах, до дикой Азии, с ее неизведанными глубинами, таинственно влекущими к себе, но порой просто унылыми и однообразными, как всякая голая и плоская степь.

Можно было просто сослать всех гимназистов, пораженных кратковременным безумием, в Сибирь на какие-нибудь работы в рудниках, а для одумавшихся с последующим облегчением участи – определением на вечное поселение в труднодоступные места, удаленные от тех мест, где живут люди, которые ходят в застегнутых на все пуговицы форменных куртках и не ломают парты и кафедры в гимназических классах, не разбивают в щепы классные доски, а пишут на них мелом – белым по черному – слова и цифры, чтобы научиться писать и считать и многим другим премудростям, в том числе и древнегреческому и латинскому языкам – их тоже можно было изучать в

гимназиях с большой для себя пользой.

Но когда в конце коридора показался гимназический инспектор, а тем более, когда он подошел и поклонился старшекласникам, неловко опередив их обязательный поклон, а потом отвел в физический кабинет и распустил по домам, надеясь по недомыслию, что все как-нибудь устроится само-собой, если не болтать о том, что произошло, и как-нибудь скрыть то, что случилось, от вышестоящего начальства, тоже не желавшего огласки и неприятностей, судьба России была решена бесповоротно и поправить что-либо уже было невозможно.

Итак, день накануне Погромной ночи только начался, и его, этого дня, от восхода и до захода солнца, достаточно, чтобы сесть за стол, положить перед собой лист бумаги и составить самую подробнейшую и обстоятельнейшую топографию с соблюдением всех правил, принятых при такого рода работах, что я собственно и намереваюсь сделать.

Соответственно существующим правилам, эта топография должна начинаться с Рясны, обычно помещаемой на разного рода картах в центре ряснянской округи, посреди дороги на Мстиславль, километрах в трех-четырех от Вуевского Хутора. Но, согласно намерениям, я начинаю эту топографию с Вуевского Хутора. По той простой причине, что земли Вуевского Хутора для меня свои.

Свои, какие бы они ни были, всегда ближе, чем чужие. Свои хороши тем, что они свои, а не чужие. Чужие не так

говорят – их часто даже трудно понять. Они не так одеваются, не так едят, не так ходят, не так смеются и плачут – они не так живут.

И хотя Рясна не такой уж дальний свет, но свои только на хуторах, поэтому топография и начинается с Вуевского Хутора. Что же касается Рясны, то о ней будет сказано в последующих главах.

XXI. Земля

Стефку Ханевскую в списки Погромной ночи внесли по Рясне, хотя правильнее внести ее в списки по хуторскому поселку Вуевский Хутор, километрах в трех-четырех от которого и находилась Рясна. Хуторской поселок занимал северо-восточный угол ряснянской округи. Земля* здесь была получше, и поэтому спокон веку на этой земле обосновались шляхтичи-хуторяне, обосновались, жили – пахали, сеяли рожь, хлеб ели, детей рожали – жили**.

** Земля – это место, которое человек занимает, пока он живет, и после смерти, пока его помнят родные или любые другие люди – не просто помнят, а ходят к нему на могилку и присматривают за ней. Таким образом, земля – это место, пространство под ногами человека, ему принадлежащее, на которое он не пускает других, чужих людей, огораживает его забором, иногда даже обносит стенами (могилу – оградой, но уже не он сам, а его родные или близкие, те, кто любили его и помнят) или очерчивает какой-нибудь границей, обозначая эту границу столбами или глубокой бороздой.*

Земля, место, пространство под ногами, которое занимает человек, бывает небольшим, маленьким: подворье, огород, усадьба, кусок (в три-четыре гектара) пахотного поля, а бывает и немаленьким,

большим и даже очень большим, тогда говорят во множественном числе, не земля, а земли. Земля, которой владеет человек, и ее размеры и расположение – вблизи ли рек, в степи ли, или среди лесов, в городе, рядом ли с городом, в деревне, имеет такое большое значение для человека, что этим словом – земля – люди стали называть все то место, где они живут, несмотря на то, что его – все это место – невозможно огородить, так как оно оказалось круглым, то есть имеет форму шара – так и говорят «земной шар». Существует и его модель – глобус.

Землею называют и верхний слой этого «земного шара», особенно те его места, где сеют рожь и пшеницу (а потом жнут и косят); люди относятся к этим местам с нежностью и любовью и называют их ласково «земелька», «землица», произрастание на этом месте ржи и пшеницы сравнивают с родами. Известны выражения «уродила землица», «родит земля-матушка хлебушек (рожь и пшеницу)», «земля накормит и напоит» и само слово «урожай». Это сближает понятие «земля» с понятием «жизнь», хотя в слове земля и нет буквы «ж», – но зато в алфавите буква «з» (земля) стоит рядом с «ж» (жизнь).

Земля, огороженная человеком или занятая каким-нибудь другим способом, заполученная им на время его жизни (а маленький кусочек еще и после смерти), вместе с женщиной являются главными составляющими частями жизни (одной из трех главных частей: сам человек, его женщина и его

земля) — частью не понятия «жизнь», а частью самой жизни, которую можно увидеть, пощупать руками, которая подтверждается пульсирующим звуком легких ударов внутри левой стороны груди — эти удары могут быть легкими, в такт дыханию, или бешено-быстрыми как топот конских копыт, или глухими и медлительными, но они должны быть, иначе, если их нет, нет и жизни.

Эти три части жизни (человек, его женщина и земля), из которых она и состоит, даже важнее, значимее и сильнее времени — пока человек жив. Время могущественнее до того, как человек появляется на свет. Потому что именно оно, первородное время, похожее на необъятный, косматый океан, темную пучину, межзвездную звенящую пустоту, излучающую завораживающее, серебристое мерцание, никем и ничем не измеримое — оно, вольно или нет, выпускает из своих глубин человека, и то, что происходит потом, и называется жизнь, жизнь, это то же самое время, но уже измеряемое количеством ударов сердца.

А после, когда человек умирает и жизни больше нет, время возвращает свои вселенские права, без малейшего усилия стирая все, что было, и забирает человека назад в свои глубины, но когда человек выпущен и живет, когда он выплыл из омута этого косматого океана, из этой бездны межзвездного пространства, времени приходится потесниться, уступить свое страшное, непонятное главенство, подчиниться тиканью обыкновенных ходиков с

кукушкой, отсчитывающих промежутки, называемые время – то первородное время, разжалованное до вопроса «а сколько времени? а, – полчетвертого», и ему, этому разжалованному времени, теперь приходится, хочешь-нехочешь, укладываться в мгновения, секунды, минуты, придуманные человеком (тем самым, которого оно выпустило из небытия и которого рано или поздно вернет туда), приходится укладываться в день, ночь, день и ночь – сутки, недели, месяцы, весны-лета-осени-зимы – те самые, от чередования которых можно уйти «в прочки», укладываться в детство, отрочество, юность, молодость, зрелые годы, старость.

И пока все это длится, идут, текут мгновения, минуты, часы, годы, жизнь, человеку не до времени: в детстве он еще побаивается его, оказавшись летним вечером где-нибудь у кладбища, в задумчивой, пугающей тишине сумерек, и в старости иногда вспоминает, но большую часть своей жизни он занят, ему некогда: он торопится огородить как можно больше земли и заполнить ее детьми, их он со своей женой упорно, несмотря ни на что – дождь, ливень, потоп, мор, голод, войны – отбирает у времени, как бы взамен того, что будет поглощен им сам.

Захватить, огородить как можно больше земли, всю землю, захватить и заполнить, заполнить собою – главное стремление человека, и, появляясь на свет, вырвавшись из небытия, еще не имея возможности сказать об этом своем желании, он сжимает

маленькие кулачки, грозя зажать в них всю землю, и даже небо с созвездиями Большой Медведицы и Малой Медведицы, и всеми остальными звездами. И, только умирая, он разжимает руку и больше не удерживает то, что имел, отпускает все, как Петр I, русский царь, а потом император, зажавший в кулак больше, чем кто-нибудь до него, и очень беспокоившийся, как бы англичане, двигаясь на запад, в Америку, не добрались бы по круглой земле до России и не заняли бы земли, которые могли бы занять русские, и Петр I послал выяснить, есть ли пролив между Азией и Америкой, который бы остановил англичан, как будто пролив – узкая полоска воды – может остановить тех, кто хочет занять, огородить как можно большие земли.

Пролив по приказу царя отыскивали уже после его смерти, и переплыли, и, пока англичане не торопились, заняли огромный кусок земли – Аляску, правда, мерзлый и покрытый снегом, но Петр I не узнал об этом, он разжал руку и сказал: «Отдайте все...» – и придворные, а потом историки гадали, что, мол, значат эти слова: может, это завещание, только царь не успел договорить, кому отдать, жене ли Екатерине I или любимой дочке Анне Петровне?

А на самом деле все проще, как это обычно и бывает, царь просто разжал руку и отдал все, как отдает всякий, любой и каждый, кто жил, отдает это все, потому что ему уже не удержать это все в своих руках (правда, отдает не все: немного земли с холмиком еще некоторое время остается за ним).

XXII. Понятие жить

*** Понятие «жить» является одним из самых необъяснимых и малопонятных, непонятных понятий из всех существующих в мире понятий. По своей необъяснимости и непонимаемости оно приближается к понятию «время», которое люди научились только измерять (и то ведь не сразу), но не умеют объяснить. Но так как с понятием «жить» простому человеку приходится сталкиваться чаще, чем с понятием «время» (многие не обращают на время внимания: дети, старики и все те, у кого нет часов, и те, кто забывают на них посмотреть), то само собою сложилось общее представление о том, что значит жить.*

Это представление происходит от толкования самого слова «жить», близкого к слову «рожь» («жито»), то есть хлеб, и к слову «жать», то есть убирать хлеб, чтобы потом его есть, и к слову «рожать» – рожать детей. Поэтому «жить» и значит: есть хлеб и рожать детей. И если кто-то ест хлеб и рождает детей, то это и значит, что он живет. Отсюда и пословицы: «Живем – хлеб жуем», «Свое дело туго знаем – деток рожаем», «На белый свет поглядим, а деток родим».

Некоторые в своих попытках объяснить, определить, истолковать понятие «жизнь» исходят из другой пословицы: «Пожили, погуляли, попили», причем

ударение в словах «пожили» и «попили» можно ставить как на первом, так и на последнем слоге. Под «погуляли» имеется в виду «погулять с девками и бабами», но никак не с женами, с ними не гуляют, а жнут рожь и рожают детей, а под «попили» имеется в виду «пить какой-нибудь хмельной напиток» – забродивший мед, брагу или бражку, зеленое заморское вино, красное вино, пышное шампанское – под пение и танцы цыган, и водку – кристально чистую и настоящую на травах, сладку водочку – наливочку, но никак не родниковую, криничную воду, холодную и всеутоляющую в жаркий полдень во время все той же жатвы или в крайнем случае косьбы.

Но так как в словах «гулять» и «пить» нет звука «ж», самого главного (и первого) в слове «жить» (а в словах «рожь», «жать», «рожать» он есть), то считается, что толкование, объяснение понятия «жить», производимые от пословицы «пожили, погуляли, попили», не полное, не всеохватывающее, а частное, применимое только в отдельных случаях и не ко всем людям*.

XXIII. Откуда берутся люди

** Более или менее известно только, откуда берутся люди и почему все рано или поздно заканчивается Погромной ночью, хотя все, что известно, никем не подтверждено и передается только на словах.*

Кто-то кому-то когда-то где-то якобы рассказывал, а потом об этом стали говорить как о чем-то вполне и даже не только вполне, но и совершенно достоверном, что людей лепит из глины старик в белых одеждах. Он торопится, никто не знает, зачем он делает эту работу, то ли по какой-то провинности он наказан и должен лепить и лепить одного за другим этих людей, может, для того, чтобы они – эти люди – потом как-то отсчитывали время, может, этот отсчет нужен, чтобы во всеобъемлющем глубинном океане-хаосе беспощадного времени, со стороны похожем на клубок распутанной котенком шерсти, хоть что-то приобретало хоть какую-то видимость порядка и смысла, якобы заключающегося в течении мгновений, часов и столетий, то ли это его (старика в белых одеждах, измазанного глиной) судьба и предназначение, непонятные как весь этот мир, и ему лепить и лепить эти торсы, тонкие женские запястья, гибкие, соблазнительные талии, грубые плоские ступни египтян, повернутые в одну сторону на каменных

рельефах, толстые задницы базарных торговков и их же короткие, потные шеи и угрюмые затылки углекопов и каторжников.

Скорее всего это все-таки именно наказание, иначе ему был бы хоть какой-то отдых. Да, наказание, и, скорее всего, за то, что он каким-то образом по неосмотрительности, как это обычно и случается, ненароком узнал о существовании времени, что было до того тайной, причем такой, которую никто не должен был узнать, и он поплатился за то, что увидел этот никому непонятный, неведомый океан, в который превратился клубок шерсти, когда-то кем-то плотно смотанный, маленький, размером с куриное яйцо, а потом расплзшийся во все стороны сразу, набухший, набрякший, запутанный и перепутанный.

Да, конечно же наказание: старик уже стар и слаб, работа с глиной – нелегкое дело, а он один, ему самому и таскать и месить эту глину (и воду тоже носить самому), и облегчения впереди никакого, а работы все больше и больше, и нужно торопиться, и старик, чувствуя спиной, что хоть на миг нет за ним надзора, побыстрее в дватри движения обходится с каждой заготовкой, чтобы потом, работая чуть помедленнее, уворовать у беспощадно-безразличного времени хоть немного незаметного отдыха усталым старческим рукам и ногам, и те, кого он слепил второпях, в два-три движения, выходят из-под его рук то неказистыми, то малых размеров, и он (старик) прячет их за тех, которые получились получше и стоят

на виду в первых рядах, и последние с восхищением смотрят на тех, кому досталось место в этих первых рядах, но рано или поздно находится кто-то обязательно кривоногий, обязательно с неправильным лицом, со скрюченным, как будто перебитым носом, обязательно с поджатым подбородком, редкой бородашкой, всегда неопрятный, как будто кривобокий, с затравленным, но упорным взглядом — он-то и начинает говорить, что стоящие в последних рядах ничуть не хуже оказавшихся в первых рядах и что все равны и одинаковы, по крайней мере, так должно быть, и даже если не равны, то должно быть, чтобы были равны — и заканчивается все рано или поздно Погромной ночью. Сначала пишут, ставят мелом на заборах и воротах и на стенах домов прямо между окон белые кресты, а потом, когда чуть стемнеет, идут убивать, а старику в белых одеждах словно и невдомек все происходящее, ему некогда, у него нет передышки, он делает то, что ему кем-то велено-предназначено, и, как и раньше, не пропускает случая дать хоть немного отдыха старческим рукам и худым, высохшим ногам, и продолжает лепить, потому что не в его воле остановить однажды начатое, и опять одни из-под его рук выходят получше, а другие похуже, и рано или поздно те, кто получились похуже, вместо того, чтобы спросить со старика или с тех, кто заставляет его работать без передышки, и возьмут в руки кусок мела, чтобы ставить кресты на домах тех, кто получился получше.

XXIV. Вуевские и Ханевские

Старуха Ханевская к концу XIX – началу XX века (по счету лет, с ошибкой в четыре года утвержденному полудиким скифом, попавшим в город Рим и ставшим там ученым измерителем времени) собрала под своей рукой почти сто гектаров земли, хорошей, пахотной, с лесами, с речушкой, с чудными лугами – самой лучшей земли во всей ряснянской округе, не считая земли Волковых (Волк-Карачевских) – небольшого куска в пятнадцать гектаров и Золотой Горы, принадлежавшей пану Спытке, он сдавал ее в аренду, а в 1917 году Золотую Гору купил старик Строев для своих сыновей, Петра и Нефеда.

Почти сто гектаров земли – это много. Это не как до Аляски, через Берингов пролив, но тоже очень много. Чтобы обойти свои земли, просто обойти кругом, по-хозяйски осматривая, не нарушена ли где кем-нибудь граница, старухе Ханевской, крепкой на ногу, понадобился бы полный день (если начать с летним ранним солнцем), а в последние годы жизни и весь летний день и вся ночь до рассвета – в последние годы старуха стала медленнее ходить, но, пока не слегла, все равно везде успевала.

Стефка Ханевская приходилась старухе Ханевской внучкой.

К концу XIX – началу XX века Ханевские считались са-

мыми богатыми на хуторском поселке Вуевский Хутор, названном так по фамилии первооснователя. Обитателей Вуевского Хутора – и самих Вуевских, и Ханевских, и даже Волк-Карачевских – иногда тоже называли вувцами, то есть жителями Вуевского Хутора. Хуторской поселок возник, по мнению стариков, «за памятью» – так они определяли время его основания.

Поскольку никто из вувцев не вел летописей, то не стали вычислять год основания и увязывать его с каким-либо известным уже годом или событием – от сотворения ли мира по Библии, или от рождения Иисуса Христа, позже распятого на кресте то ли евреями (за что их потом русский царь по совету своего книжника не пустил в Смоленск, Вязьму и Москву), то ли римскими легионерами, или от основания города Рима, откуда и взялись эти легионеры в шлемах и с короткими мечами, чтобы ограбить все известные тогда земли, куда можно было добраться пешком, огородить их сторожевыми башнями, валами, рвами и просто межевыми знаками; вувцы конца XIX – начала XX века довольствовались несколько общим, но достаточно точным определением: за памятью. Поэтому, как появился Вуевский, как огородил, очертил эти самые лучшие для ржи и пшеницы земли, какие составлял бумаги, как поставил дом, как осел надежно и навсегда, так что окрестный люд прибавил ко многим названиям, бытовавшим в этих местах, еще одно – Вуевский Хутор – неизвестно. Все это было, но осталось за памятью.

Память сохранила только то, что Вуевский был полковником, мог располовинить саблей от плеча до седла казака или любого войскового москвитя, и в случае необходимости, собрав небольшое ополчение из своих слуг (по фамилии Якимовичи, они жили потом небольшой деревенькой Мырки недалеко от Вуевского Хутора и пользовались одним с вувцами кладбищем), он должен был срочно явиться при оружии, конно и пешью в Мстиславль.

Из памяти известно и то, что Ханевский тоже был сразу и наравне с Вуевским в таком же, как он, чине или чуть (незначительно) ниже чином (чин Вуевского – полковник – мог быть по давности лет преувеличен, что теперь не имеет особого значения). Но у Вуевского было несколько родных и двоюродных братьев, род их оказался многочисленнее, плодотворнее и сильнее, женщины у них были свои, так как род сразу разветвился, и они женились на троюродных, а иногда даже и на двоюродных. Их женщин – веселых и хитрых девок – брали и Ханевские, и позже Волк-Карачевские. Род Вуевских быстро умножился, но разрастаться ему было некуда, и он раздробился, измельчился внутри старых земель, огороженных когда-то первым Вуевским, а потом многие обеднели и стали терять земли. Причем сами Вуевские, каждый сам по себе, не измельчали, не выродились – мужчины поражали силой, глядя на любого из них, словно налитого медью, даже в конце XIX – начале XX века верилось, что если дать ему старинную шляхетскую сабельку, то он кого хочешь распо-

ловинит от плеча до седла, а девки их по-прежнему весело и хитро улыбались и могли нарожать столько, сколько вместит дом, подворье и огороженная их мужчинами земля.

Но сам род распался на десятка два семей и, перестав быть единым, не удержал свои земли: часть их откупил помещик по фамилии Казачок, часть – Волк-Карачевский, а часть – даже Авдей Стрельцов, по матери Ворона. Больше всего земель забрала у них старуха Ханевская, она как раз тогда и вошла в силу, когда род Вуевских стал дробиться и распадаться.

Все время от основания Вуевского Хутора Ханевские прожили двумя семьями: семья старухи Ханевской и семья Виктора Ханевского. Эта вторая семья Ханевских занимала особое положение на хуторах. Эти Ханевские имели небольшой, но достаточный кусок земли, хороший дом, крытый тесом и на фундаменте, – единственный такой на хуторах, у многих хаты были и побольше, но без фундаментов, с завалинами, крытые соломой.

Эти Ханевские нанимали работников пахать, косить, возить сено, копать картошку, жать рожь и пшеницу. Сам Ханевский пахал только у дома, косил только клевер и молотил, потому что молотить, после того как снопы свезены в овин, – дело неспешное, обрезал яблони и ходил за пчелами. Он держал всего одного коня и часто брал работников с лошадьми. Его жена занималась огородом, вела хозяйство, помогала мужу и совсем мало пряла и ткала зимними вече-

рами, родила она только одного сына.

Все, что они наживали за год, за год и проживали, и любопытному человеку со стороны казалось непонятным, откуда взялся и чем держится такой дом и почему все хуторяне уважительны к однолошадной семье, она хорошо сводит концы с концами, но и только и даже проживает больше, чем наживает, особенно если взять в расчет их сына, который не помогал родителям ни пахать, ни косить. В доме в отдельной комнате у него стоял шкаф с книгами. Лет с четырнадцати – самый возраст, когда уже можно всерьез и пахать, и косить, – он по полгода жил в Мстиславле и учился не в церковно-приходской школе в Рясне, как некоторые дети хуторян, а в гимназии, но не учился, как все гимназисты, а только сдавал экзамены и потом уехал в Москву.

Непонятно, как и чем держался дом этой семьи Ханевских, было только человеку со стороны. На хуторах все хорошо знали: у Ханевских есть золото. И не такое, как у всех, нажитое, скопившееся за долгие годы, а другое, изначальное, неизвестно как и откуда взявшееся у одного из первых Ханевских, еще во времена основания хуторского поселка (то есть за памятью), добытое им за один раз, на турецкой войне или на какой-другой.

Семья этих Ханевских (их можно назвать Малыми Ханевскими) никак не мешала старухе Ханевской, хозяйке семьи, которую соответственно нужно называть Большими Ханевскими.

XXV. Старуха Ханевская

Старуху Ханевскую помнили и знали старухой лет пятьдесят. До того как стать старухой, она словно собиралась с силами и только присматривалась. К тому же, до того как стать старухой, она родила то ли пятнадцать, то ли шестнадцать детей, семеро из них выжили, она выкормила всех их молоком, научила ходить, приучила сидеть за большим общим столом и есть из тарелки щи, суп, подставляя под ложку кусок хлеба, есть кашу, вареную картошку, политую подсолнечным маслом, нарезанное брусками сало, присмотрела, чтобы они научились пахать, косить, управляться с лошадьми, научила считать деньги и прикидывать на глаз, чего стоит девка. Управившись с этими неотложными по их первоочередности делами, старуха Ханевская посмотрела в старое зеркало, висевшее на стене, покрытое густой паутиной мелких трещинок, и сквозь туман прожитых лет увидела, что нет уже ни юности, ни молодости, а есть только огромная старуха, всесильная и непреклонная владычица, ей бы только взять посох, клюку, обвитую змеями, и бродить по лесам, повелевая волками и медведями, шмыгающими у нее под ногами, да слушать трещотку-сороку, устроившую себе гнездо на ее левом плече.

Но вместо того, чтобы уйти бродить по лесам, старуха Ханевская достала из-под половицы кожаный мешочек с золо-

том, отложила на всякий случай два десятка золотых пятерок, тоненьких, как осенние березовые листочки, гонимые ветром, а на остальные стала скупать земли Вуевских, род их именно тогда начал распадаться на дальнородственные и слабые семьи, и им не под силу было удержать все, что они огородили когда-то в лучшие свои времена.

Старуха в несколько лет собрала под свою руку гектаров сто земли (тогда ее мерили десятинами, сохами, вытями, мерами посева – четвертями, одна четверть – пудов семь-восемь – столько нужно зерна, чтобы засеять полдесятины, а чтобы засеять ее всю, нужно две четверти ржи или пшеницы, в одной десятине вмещалось больше двух тысяч квадратных сажень, а сажень – это столько, сколько ты можешь захватить обеими руками, раскинув их пошире, не зажать в кулак или даже в пригоршню, а именно захватить обеими руками). На эти сто гектаров она посадила пятерых своих сыновей, завела им жен, взяв их из самых лучших, справных вуевских девок, поставила всем хаты и, предусмотрительная во всем, а в случае чего беспощадная, не выпускала никого из своей воли и со своего глаза. Кроме пяти крепких, послушных и хозяйски толковых сыновей у старухи Ханевской было еще двое детей: поздние дочка и сын. Дочка – точная копия старухи, высокая, костистая, на вид гордая и властная – натурой получилась совсем не в мать, покладистая и послушная, незлобивая и простодушная, она засиделась в девках и потом против воли старухи, но все-таки с ее согласия

вышла замуж за Ивана Волкова (Волк-Карачевского), обезземелевшего после возвращения с турецкой войны и оставшегося с одним топором – плотничавшего, чтобы прокормиться. Он надеялся отсудить свою землю, хитростью отнятую у него Вуевскими; а пока суд да дело, хотел получить хоть сколько-нибудь земли за дочкой старухи Ханевской.

Но старуха от дочки избавилась, а земли не дала.

Последнего сына, как и дочку, старуха считала неудавшимся и выделила ему поменьше, чем другим, земли, и похуже. Тихий, робкий, он взял издалека жену, хоть и шляхтянку, но такую, как и сам: нехозяйскую.

Они как будто и неплохо обжились, и хозяйство вроде бы у них велось не хуже, чем у других, но как-то непрочно сидели они на земле, старуха видела это, хмурилась, и земли им не прибавляла, а им и хватало, они словно и не хотели больше.

Вот у них-то и родилась дочь – Стефка.

XXVI. Младший сын старухи Ханевской – отец Стефки

Род Ханевских (особенно когда старуха Ханевская вошла во власть) был крепким, коренным, землевладельческим, он впалялся в сто гектаров огороженной, обмежеванной старухой земли, врос, как корни двухсотлетнего, а то и трехсотлетнего дуба, самого дерева и не видно – ветви, крона там, за облаками, а могучие его корни пронизывали, оплетали и прочно держали землю.

Жена младшего сына старухи Ханевской происходила не из хуторской, а из пригородной мстиславльской шляхты. Отец ее никогда не брал в руки косы, не касался плуга, земли он имел впятеро меньше, чем старуха Ханевская, золота в кожаных мешочках в его роду не водилось последние сто лет.

Но зато дом их состоял из двух половин, дочь и двое сыновей никогда не носили самотканной одежды, на чердаке валялась сабелька-карабелька, такая же, как у полковника Вуевского, когда он основал Вуевский Хутор, именно такой сабелькой Вуевский и мог располосинить казака от плеча до седла, такая же была и у Ханевского, но за долгие годы у хуторян они не сохранились ни в одной хате Вуевского Хутора.

А кроме сабельки-карабельки у отца будущей жены младшего Ханевского на чердаке пылились портреты гонорливых усачей в контушах, игривых, кокетливых красавиц и старух,

похожих на старуху Ханевскую, но только не в таких тяжелых библейских одеждах, как у старухи Ханевской, а в кружевных чепчиках.

Свою жену младший Ханевский встретил в Мстиславле, на шумном, пестром, веселом базаре. На базар она явилась не при отце-матери, которым надо купить мелкой картошки до урожая на корм скоту или продать бычка, по какой-то причине не взятого в сезон скупщиками-евреями, а пришла с подружками выбрать красивых разноцветных лент, чтобы вплетать их потом в волосы и, глядя в зеркало, вспоминать, как растерялся и покраснел младший Ханевский, когда она засмеялась, проходя мимо него, и не только мимо него, а мимо всех тех, кто, вдруг оторвавшись от разговора или осмотра товара, останавливал на ней взгляд, но все-таки больше всего вспоминался младший Ханевский – уж он так растерялся, что, казалось, стоять ему до самого вечера, пока не стихнет базар и люди разъедутся по домам.

Никогда бы старуха Ханевская не взяла в дом своему сыну такую жену. Как никогда бы не отдала за Волкова (Волк-Карачевского) дочку, будь они – дочка и сын – такими, как старуха, такими, как пятеро первых ее сыновей. Но и дочка и сын были не такими. И она отпустила их.

О дочке она даже не вспоминала. Когда дочка засиделась в девках, старуха подумывала, как от нее избавиться без убытка. Если бы она, старуха, решила выдать ее, то управилась бы в первую же осень, это стоило бы потери гектаров два-

дцати земли. И у старухи имелось на такой случай несколько не очень удобных кусков земли, не очень хорошей, хотя и не плохой совсем.

Но старуха знала, чувствовала, что эта земля убудет через младшего сына, и припасла ее для этого убытка, чтобы не войти в убыток еще больший, не тронуть, не начать кромсать, делить основного, целого, как каравай, отрежь от него хоть чуток, и он уже не целый. Поэтому когда Иван Волков (Волк-Карачевский) взял дочку без земли, старуха успокоилась, теперь все вышло по ее расчету, а то, что сын сам нашел жену вдали от хуторов, было еще лучше, старухе не хотелось брать для него девку у Вуевских, потому что сын не смог бы удержать над ней власть и оказался бы у нее в подчинении.

К тому же выяснилось, что за предполагавшейся бесприданницей есть приданое деньгами и его хватит и на покупку двух коней, и на постройку хаты. Деньги дала любимице-внучке бабушка, старушка-травница по имени Стефания, а кроме денег еще и сундук с нарядами, шитыми жемчугом и золотыми нитками. Правда, такие наряды уже давно, лет триста-четыреста, не носили, и внучка ни разу так и не надела их.

Старушка-травница жила в каменно-кирпичном доме, его правильнее бы назвать замком, маленьким замком, окруженным с одной стороны лесом, с другой полями, а рядом, у самых его стен, протекал ручей, только это был не такой ручей, как в землях хуторян, – их ручей впадал в речушку Вер-

бовку, которая огибала Золотую Гору, а потом протекала у Рясны, отделяя от нее Заречье, потом эта речушка впадала в речку Проню. Проня, ограничивающая с западной стороны ряснянскую округу, текла на юг в реку Сож.

Ручей, журчавший у стен замка, в котором жила старушкятравница, и был сам Сож в своем верховье. Тот самый Сож, на берегу которого некогда приостановились два брата Родим и Вятко со своими родами после долгого пути с берегов Дуная. Вятко повел своих дальше, а Родим остался. Сож впадал в Днепр то ли за Гомелем, то ли не доходя до него, а по Днепру недалеко и до Киева, а уж дальше – Черное море.

Стефания приезжала на свадьбу, ей понравился избранник внучки и не понравилась старуха Ханевская. А старуха Ханевская поняла, что с этой старушкой, похожей на добрую ведьму, в случае чего просто так не сладишь, она не боится тяжелого взгляда и долгого молчания, и деньги за внучкой и сундук с диковинными одеждами «королевского двора» (так сказала старушка) дала не для того, чтобы угодить родне жениха.

Молодые поставили дом, завели хозяйство и родили дочь – Стефку. Стефкой, Стефанией ее назвали в честь старушки-травницы, ее прабабки.

XXVII. Рождение Стефки

Стефка родилась в конце лета. На небе не появилось никаких новых звезд. Большие летние звезды все разом засияли ярче и светлее, и те, кто смотрел в ту памятную ночь на небо, заметили, что Мицар и Алькор в ковше Большой Медведицы стали ненадолго видны невооруженным глазом – такая ясная, чудная выдалась ночь, звезды висели прямо гроздьями, лучились, светились, а Млечный Путь просто фосфоресцировал белой полосой, похожей на дорогу, посреди которой можно поместить что угодно, хотя бы и Рясну, которая, в свою очередь, помещается недалеко от Вуевского Хутора – километрах в трех.

Стефка родилась в убранной, нарядной горнице. Ее родили отец и мать, родили в своем доме, на своей земле, на хуторе, огороженном от всех нехороших людей, их ведь на белом свете пруд пруди и им только дай, и они погубят тебя за то, что ты рождена отцом и матерью и лежишь, завернутая в одеяльце с нашитой по краю кружевной лентой, в колыбельке, сделанной стариком прапрадедом, словно отлитой из одного куска мягкой, податливой липы и разукрашенной резным узором, погубят, по крайней мере, попытаются погубить за то, что твои отец и мать и твои деды умели нажать землю и огородить ее, за то, что ты, уже только родившись, имеешь эту землю, огороженную ото всех.

Стефка родилась в урожайный, богатый год, по счету лет, принятому на тот момент, уже шло новое тысячелетие, страшные события и беды стояли в очереди одно за другим, но Стефке повезло, ее было кому защитить и собрать в дорогу.

Прабабка Стефки, старушка-травница Стефания, строго-настрого приказала внучке, когда родится дочка, то в первый же месяц привезти ее на несколько дней.

Это была осень 1914 года, по принятому тогда летосчислению. Как раз в этот день Старуха-время ушла из своего сарая за Рясной в прочки. Старуха Ханевская опять достала мешочек с золотом. Золото в нем приросло, его стало так много, что мешочек едва завязывался. Старуха Ханевская отсчитала несколько пятерок и десятков, собираясь отвезти их в уезд, чтобы пятеро сыновей и младший, отец Стефки, не шли на войну, на которую послушно собирались Вуевские и Волк-Карачевский, не Иван, взявший без земли и приданого дочь старухи Ханевской, а его старший сын Владимир, Иван к тому времени уже умер.

А старушка-травница, прабабка Стефки, Стефания ждала в своем старом замке правнучку и варила разное зелье.

Отец Стефки снарядил телегу, устроил удобное сиденье, взял несколько накидок на случай дождя, отогнал от телеги собаку, мать Стефки собрала еду в дорогу, и в полдень они отправились в Мстиславль, остановились у родителей, переночевали и за несколько часов до рассвета проехали че-

рез сонный Мстиславль и оказались на дороге. Взошло солнце. Дорога спускалась вниз с отрогов Мстиславльской возвышенности, изрезанных оврагами и ложбинами, в низинку, отделявшую Мстиславльскую возвышенность от Смоленской возвышенности, где брал свое начало Сож.

Впереди лежал восток, по бокам – юг и север, запад оставался за спиной. Сверху все было накрыто перевернутой чашей высокого неба, заполненной редкими, курчавыми облаками. Дорога уходила к горизонту, туда, где чаша опиралась о землю, это была та самая дорога – старая, заброшенная после постройки железных дорог и новых шоссе, она когда-то (да и теперь) вела в Москву и из Москвы, на ней стояла и Рясна, куда хуторяне-вувцы ездили на базар, эта дорога из Рясны, направлялась на Смоленск, Вязьму, Можайск, в стороне от нее, недалеко от Смоленска, на берегу ручейка Сожа, старушка-травница Стефания ждала правнучку Стефку.

XXVIII. Травница Стефания

Они приехали ближе к полночи, когда чаша неба заполнилась вместо облаков и солнца звездами и луной. Стефания приготовила воду, положила в нее самые диковинные травы, добавила из старинных штофов и бутылей всяких настоев, распеленала Стефку и окунула ее в корыто, прямо в булькающее, шипящее варево, окунула, не взяв за пятку, а всю, а потом намазала мазями, источающими аромат, дурманящий, пьянящий, усыпляющий, опять опустила в корыто, но уже в другую воду, черную от травы череды, и достала ее ослепительно золотую, запеленала и уложила у камина спать под охраной старой, худой, огромной борзой.

Борзая сидела рядом с драгоценным свертком, то и дело зевая, раскрывая узкую, длинную пасть. На другой день Стефания еще раз выкупала Стефку – рано утром и еще раз – на ночь. Из ослепительно золотой Стефка стала нежно-золотистой, как будто покрытой ласковым, нежным загаром, и уже никакие напасти, беды и невзгоды ей были не страшны в этой жизни, наполненной ими – бедами и напастями – сверх всякой меры.

Семь лет Стефку возили раз в год на несколько дней к прабабке, а потом четыре года подряд оставляли на три месяца – сначала на все лето, потом на всю осень, зиму, весну, пятый год Стефка прожила у нее безотлучно, а потом при-

езжала каждое лето.

Стефания водила правнучку по лугам, ходила с ней в лес, собирала травы, варила зелье и, сидя вечерами у огня, рассказывала ей о встрече Навсикаи с Одиссеем, как она (Навсикая) пошла к берегу виннопенного моря стирать одежды и как увидела его первый раз, рассказывала и об Офелии, и о королеве Ядвиге, и о королеве Варваре, и учила танцевать танец полонез*, потому что его танцуют при королевских дворах.

** Тот самый танец, которым открывались придворные балы, торжественное шествие, когда кавалеры и дамы величавы и даже как будто надменны, но в каждом движении уже сквозит скрытая игривость. Этот танец придумали поляки. Они придумали именно полонез, а не развеселую польку, чешский танец, название которого в переводе означает «пол шага».*

Величавость и торжественная гордость с оттенками заносчивости разной степени шла от мужчин, а игривость – от женщин, только делавших вид, что они всерьез принимают величавость и напыщенную гордость, и то и дело взглядом дававших понять, что уж они-то знают цену этой величавости и напыщенности, уж они-то знают.

Возвращаясь домой, Стефка не жала серпом рожь, не вязала снопов, не ткала длинными зимними вечерами холстов, а повторяла движения и фигуры полонеза и стояла перед зер-

калом, надев на себя золотые, расшитые жемчугом одежды, доставшиеся от прабабки, а когда ей минуло пятнадцать, то и дело задумывалась, куда бы отправиться, чтобы выстирать их, и не встретится ли ей кто-нибудь по дороге.

Она не помнила имя Навсикаи, забыла, как звали странника Одиссея, но со дня на день ждала этой встречи.

Стефания-травница умерла, когда Стефке исполнилось пятнадцать лет. Через полгода умерла и мать Стефки. Ее похоронили радостным весенним днем, Стефка посадила на могилке полевые цветы и совсем не печальная, а даже как будто веселая и ждущая просидела все лето у цветущего холмика, а к осени занемог и отец. Оставшись без жены, он совсем растерялся, и не он присматривал за Стефкой, а Стефка за ним.

XXIX. Что такое смерть

Старуха Ханевская к этому времени начала дряхлеть. Если бы теперь ей вздумалось осмотреть свои земли, то она не смогла бы сделать это в один день, она не успела бы следом за солнцем от восхода до заката, потому что солнце никогда не стареет и не замедляет своего движения, и старухе пришлось бы шагать не только за солнцем, но и за луной, тоже никогда не стареющей.

Старуха не вмешивалась в жизнь младшего сына, его жены и дочери, но смотрела на их жизнь неодобрительно и недовольно. Ее дети, те, которые жили так, как велела старуха, много ели, много работали, все были в теле, жены их работали не покладая рук: жали, ткали, вели хозяйство, рожали каждый год и кормили детей и водили за руку тех, которые выживали, и учили их жить, есть и работать. Им некогда принаряжаться, смотреться в зеркало, бродить по лесам и лугам, им некогда задумываться и умирать не в срок.

Старуха видела, что младший сын не жилец, что он торопится за женой, но молчала, она понимала, что не поправить, не переменить. Свою власть она понемногу отдавала старшему сыну, приучая его присматривать не только за своим домом, но и за всеми Ханевскими, за всей их землей целиком, и он присматривал, послушный воле старухи.

А младший сын старухи успел по осени обратиться, обмоло-

тил хлеб и даже съездил на осенний базар и слег, и, путаясь в словах, объяснял старшему брату, сам удивляясь, как это так: убраться и дела к зиме закончить успел, а вот управиться перед смертью не управился: собрался умирать, а оставалась Стефка, и он просилмолил старшего брата приютить дочку.

Отец умер поздней осенью, и Стефка не посадила на его могилке цветы – землю уже прихватил морозик, и на кладбище не сидела, как летом, – было холодно. О смерти* она не задумывалась, занятая другими мыслями.

** Что такое смерть, не знает никто, хотя часто видят, как это происходит с другими, но никто не знает, как это произойдет с ним, и возможно ли в тот миг понять, что это такое, или почувствовать, что это такое, и вообще, чувствуют ли хоть что-нибудь в этот момент, и момент ли это или значительно дольше – все это неизвестно, непонятно, не говоря уже о том, что будет потом или ничего не будет, и как это может быть «ничего не быть», куда же все денется, возможно ли такое, а если возможно, то зачем тогда было то, что было до этого, все то, что привыкли называть словом «жизнь», которая – а уж это всем известно – длится не один миг – момент – мгновение, а лет семьдесят-восемьдесят, и все равно не понять, не разобраться, что это такое, и если невозможно разобраться за столько лет – семьдесят-восемьдесят, – что такое жизнь, то где уж тут понять, что такое смерть за один тот миг, который она длится (если она вообще длится и если вообще есть*

этот миг, мгновение).

Поэтому смерть непонятнее даже, чем жизнь, и чтобы ее хоть как-то понять, ее представляют в различных образах, специально для этого придуманных, как изображают и никому не понятное время: то в виде старухи с выколотыми глазами, в рваном овчинном полушубке, почти истлевшем на ее плечах, то в виде юноши, позванивающего в колокольчик и похожего на почтальона.

Смерть тоже изображают по-разному: грекам она виделась юным мальчиком, двойником сна, его родным братом, только с опрокинутым светильником, не угасшим, как у сна (у сна светильник вечером угасает, а утром зажигается снова), а опрокинутым – такой не зажжешь, чтобы зажечь, его нужно перевернуть, а это еще никому не удавалось, мальчик держит его крепко-накрепко, это только кажется, что мальчик беспечен и опрокидывает светильники случайно, на самом деле он знает что делает, и все у него не нечаянно, и хотя братья стоят рядом, ступни их ног обращены в разные стороны. А кроме того, те самые старухи, что прядут всем нить, его сестры, хотя он и выглядит намного моложе их, ему на вид лет десять – двенадцать, а им за девяносто, но они ему не родные тетки, не бабки или прабабки, а именно сестры, и в случае чего не они ему указ, а он им.

Но чаще всего смерть представляют старухой или даже скелетом с косой, это подходит только к таким случаям, как смерть в мор, голод или во время войн;

мор, голод и войны сами по себе не редкость, но, тем не менее, они только случай, хотя и частый, но частный, а умирают и без этого, и по-разному: иногда и без страха и ужаса.

Владимиру Волкову (Волк-Карачевскому, сыну Ивана Волкова, того, который взял без приданого и вопреки надеждам, без земли, дочь старухи Ханевской), под старость много лет ее ожидавшему, смерть виделась разбитной бабенкой, если сказать поэтически-возвышенно – игривой блудницей, в веселом, пестром ситцевом платье с пачкой квитанций, расписавшись в них каждый получает последний расчет. Бабенка эта всю жизнь бесплатно дает всем то, что может дать гулящая бабенка любому и всякому, а потом требует расчета, мол, распишись в квитанции – а после того как распишишься, уже не дает, и поэтому все бегают за ней, торопятся, уговаривают, прося отсрочки, а она, как всякая женищина, в любую минуту готова вильнуть хвостом, и непонятно, чем ты ей не угодил.

Волков не бегал следом, не ловил, и она сама приходила без уговоров – как всякая женищина, податливая и нетерпеливая в заветный «бабий час», когда ей любой хорош, – и, может, поэтому и с расчетом не торопила, но все равно без расчета не бывает, ей эти квитанции, видимо, куда-то сдавать, и, наверное, под счет. Однажды она заглянула к Волкову, ему тогда было всего-то семьдесят лет. И, увидев в ее руках бумаги, он понял, сообразил, что она пришла

с расчетом и спросил: ну что, мол, ко мне? Но она как будто не услышав вопроса (а может, и в самом деле не услышала, потому что была занята другими мыслями), спросила, переступив порог хаты:

– А где эта сусед твой, Гришика Вуевский?

Гришика Вуевский приходился Волкову троюродным братом и был лет на десять моложе его. Сын Гришки Вуевского после армии поехал в Минск, устроился плотником на стройку, без паспорта, но сумел угодить какому-то начальнику и тот начальник вытребовал ему паспорт и дал трехкомнатную квартиру и даже приезжал летом на легковой машине в Заполье, где после сселения с хуторов жили Вуевские и Волков. Гришку Вуевского сын забрал в Минск, в больницу, врачи определили, что ему нужно делать операцию.

– У сына в Минске, – ответил Волков разбитной бабенке.

– А я други раз захожу, думаю, где эта ен? Тут яму квитанция, нада расписаться.

Бабенка держала в руках целую стопку квитанций.

– А мне когда квитанция? – спросил Волков.

Он подошел поближе и хотел заглянуть в бумажки. Бабенка перебрала сверху квитанции и ответила:

– Табе квитанции нету. А Гришке Вуевскому квитанция. Я к яму сюды, а ен оказывается у Минску.

Через несколько дней из Минска привезли хоронить Гришку Вуевского, операция, после того как расписался в квитанции, не помогла. А Волков прожил после этого случая еще лет двадцать, но потом тоже умер,

квитанция ему все-таки была, но лежала в самом низу стопки. И когда бабенка принесла ему ее, он не стал вымаливать и кланяться больше, чем в этой квитанции записано.

Представление Волкова о смерти мало кому известно, оно не попало ни в какие энциклопедии, словари и справочники и даже фольклорные сборники.

Из фольклорных представлений, наиболее основательных и как бы утвержденных и признанных специалистами, известно представление о древе жизни и смерти с черным вороном. Дерево все время цветет, ворон срывает цветы и бросает их в корыто, стоящее под деревом, цветов не убывает, а корыто не наполняется.

Откуда берутся новые цветы взамен сорванных вороном и куда исчезают из корыта – не указывается, об этом можно только догадываться. Догадок существует две. По первой, крона дерева уходит в какую-то верхнюю бездну, откуда и появляются новые цветы, как яркие залетные звездочки, оседающие потом на ветвях. Это зеркальнопротивоположное представление тому, которое связано с падением звезд в летнюю ночь и по которому падающие звезды уносят чьи-то жизни, а не приносят – так, по крайней мере, многим кажется. А корыто дырявое, с прогнившим днищем и стоит над какой-то нижней бездной, в ней все сорванные цветки исчезают навсегда и без следа.

По другой догадке, корыто связано с корнями дерева, цветки, попав в корыто, истекают соком, соки эти

проникают к корням и по стволу возвращаются на ветви, где опять цветут цветки, а их, того и смотри, опять сорвет ворон.

Это второе представление близко к таблице «Круговорот воды в природе» из курса природоведения в четвертом классе средней школы. На ней изображено (и для наглядности дополнительно показано маленькими стрелочками), как вода крупными каплями падает из облаков, плещется в озерах, играет в граненой посуде, движется по водопроводу, наполняет бочки под крышами домов – в запас для полива, растекается по полям, падает водопадами, рассыпаясь бриллиантами брызг и низвергается алмазной горой под взором восхищенного поэта Державина в жемчужно-серебряную бездну, подобно времени и временам, неизвестно куда исчезающим с едва уловимым за общим шумом тиканьем и злоеющим скрипом, звонко несется ручьями, поблескивает в глубоких темных колодцах, пульсирует в желанных летним знойным днем родниках-крыничках, но рано или поздно уходит под землю, проникает в дремучие, никому не известные глубины, сочится сквозь пески, блуждает в кромешной темноте по водонепроницаемым слоям глины и, наконец, пробившись наверх родниками, стекает реками в моря и океаны, а из морей и океанов под лучами солнца поднимается легким паром и плывет облаками в невообразимо, невероятно высоком небе, чтобы снова повторить указанный стрелочками путь и упасть вниз

каплями дождя и запрыгать стальными гвоздиками по лужам.

Поэтому есть люди, которые летом, во время цветения лугов, лежат в траве (если им не нужно косить) как будто посреди земли, и, закинув руки за голову, смотрят в небо, на эти облака, и думают о чем-то непонятно-необъяснимом, о жизни и смерти, но придумать до сих пор они так ничего и не смогли.

Стефка никогда не думала о смерти, в лугах она собирала травы и не обращала внимания на облака над головой, поэтому она не испугалась смерти матери и смерти отца. Она перешла в дом старшего Ханевского, и ей дали веретено, а потом серп, и она пряла, а потом жала, так, как будто делала это с первых лет жизни, ни в чем не уступая другим, под суровым взглядом старухи Ханевской, и особенно любила ходить стирать и полоскать белье в небольшом омуте безымянной речушки. Она стирала, опускала длинные простыни в воду, доставала их, била деревянным «пряником», снова бросала в воду белые самотканые длинные полотнища, и они, казалось, уплывали вниз по течению между зеленых водорослей, извивающихся, колеблющихся тихим, неспешным течением, а Стефка посматривала вокруг, но никого ни на берегу, ни на стежке-тропинке, ведущей к речке, не было. Стефка находила время и бегала в луга и в лес, собирала травы, видели, как она танцевала на поляне какой-то танец (полонез), над ней посмеивались, она не обращала внимания, посмеивались: чудаковатая, сирота при богатых род-

ственников, не побираться, и то хорошо. Вот и все, что ей досталось, все, на что она могла надеяться, кому она нужна, кто возьмет ее, но взгляд почему-то задерживался на ней, только что это значит, когда взгляд почему-то не скользит, а задерживается, притягиваясь изгибом девичьего тела, на хуторах уже не могли припомнить.

XXX. Девушки, которые плетут всем веночки

Стефке исполнилось шестнадцать лет, и она уже знала, что не на хуторах искать ей свое счастье, если и удастся его где-нибудь найти. Когда бегала по лугам, когда танцевала на поляне, когда ходила по вересковым опушкам, Стефка и встретила тех трех девчат, которые плетут всем веночки: кому из ржаной золотистой соломы, кому с полными колосьями, а кому с пустыми, а кому и совсем из пустозелья, злых сорняков и колючего чертополоха с крупными фиолетовыми бутонами.

Девчат этих видели многие. Некоторые удивлялись, откуда они, из каких деревень, и почему так веселы и беспечны, и все в цветах — лет по семнадцать им, ну, не больше двадцати; особенно удивлялись те, кто встречал их в молодости, а потом лет через двадцать или сорок — девчата не менялись, оставались веселыми и беспечными, как и были, и не старели.

И те, кто задумывался, предполагал, что это не такие девчата, как все, не такие, как обычные девки, которых можно взять замуж, которые потом жнут рожь, прядут шерсть зимними вечерами, по утрам суетятся у печи, а через много лет лицо их покрывается морщинами, спина сгибается, а руки не держат серп, и даже нет сил наклониться и захватить пучок

ржанных колосьев. Но никто никогда не разговаривал с этими девочками, ни о чем их не расспрашивал, да и они, завидев незнакомых людей, обычно тут же собирали свои веночки и, весело смеясь, торопливо убегали в лес.

А Стефка, то ли оттого что была болтлива, то ли по своей веселости и любопытству, подружилась с ними, она собирала травы и цветы, и им нашлось о чем поговорить. К тому же девочки тут же вспомнили прабабку Стефки – Стефанию и рассказали, какой она сплела однажды в ранней юности себе веночек. Она собрала в него все травы, какие только отыскала (девчата еще и помогли ей искать, иной раз даже удивляясь тому, что находили), и сплела его не как простой веночек, а будто настоящую корону, да еще с небольшими гирляндочками, свисавшими на плечи.

И Стефке они тоже разрешили самой сплести себе веночек. И потому, что она правнучка Стефании, и потому, что она им очень понравилась – Стефка помогала им разбирать травы, помогала искать нужные цветы, приносила целые снопы ржи, девушки многим вплетали в веночки колосья, а бегать в поле ленились – они не любили уходить далеко от леса.

Стефка сама сплела себе веночек, самый простой, из ромашек, темно-синих васильков и бледно-нежно-синих колокольчиков, и носила его целое лето, на нее не обращали внимание – ну носит веночек, ну и ладно. Знали, что она собирает травы, и когда надо попросить что-нибудь от кашля – просили, и когда коровы болели – тоже звали Стефку, и она

поила их отварами, кормила травами.

Никого не удивляло то, что Стефка собирала травы, ведь она научилась этому у своей прабабки. И даже пророчица Параскеевна, она уже к тому времени жила в Рясне (после того как ее выселили из далекой деревни Тыща), тоже знала о том, что Стефка разбирается в травах, и иногда отсылала к ней приходивших с просьбами – не то чтобы Параскеевна меньше понимала в травах, просто есть такие травы, которые очень долго искать, а Параскеевна была постарше даже старухи Ханевской, и ей нелегко ходить по полям да по лугам, а быстроногой, легкой и, как казалось тем, кто видел ее на лугу среди трав и цветов, легкокрылой Стефке так даже в удовольствие.

Когда девчата, которые плетут всем веночки, увидели, какой веночек сплела себе Стефка, они полюбили ее еще больше: ромашки да колокольчики – веселые, беспечные цветы, а людей беспечных и веселых потому все и любят, что они беспечны и веселы; были в веночке и васильки, они вроде простые, но умеют постоять за себя и в случае чего в обиду себя не дадут, но и они беззлобны и радуют глаз даже среди персидских узоров.

Девчата так любили Стефку, что, когда цвели маки, они собирали их пыльцу и, дунув ее с ладошки в сторону хуторов, насылали на всех полусон, и все, даже старуха Ханевская, погружались в дремоту и бродили по своим детским снам, а Стефка весь день сидела посреди лугов, не собирая

трав и не торопясь домой. Солнце ласково лучилось над ее головой, где-то рядом звучала музыка, Стефка видела, как травы тянутся и льнут к ней, и все колеблется в такт музыке, и она сама становится травой – не травинкой-стебельком, а всей травой сразу, и даже молоденькими деревцами на опушке леса, и кустарничками вереска на полянах.

А на следующий день вечером старуха Ханевская, приглядывая за работой, никак не могла понять, что случилось: работали все как всегда, а сделано вдвое меньше, чем обычно, – вчерашнего дня никто не помнил, а работа-то стояла.

XXXI. Стефка в чужой семье

В семье Ханевских Стефку считали почти что дурочкой, особенно за ее болтливость. Она не скрывала, что ждет встречи с тем, кто возьмет ее замуж и куда-то увезет – не на хуторах же ей жить всю жизнь. Она любила лес, поляны, девчат, которые плетут всем веночки, но сами хутора казались ей угрюмыми.

Тяжелые, хмурые мужчины, а те, кто помоложе, тоже тяжелые и хмурые, они не бросали на Стефку взглядов, не приглашали ее танцевать полонез (ах, как бы она станцевала в своих златотканых, доставшихся ей от прабабки, шитых жемчугом одеждах, такие ведь носили только при королевских дворах), не встречались ей на тропинке от родника, на которой не разминуться, не назначали ей встреч поздно вечером у стожка, когда умолкает хутор и оживают луг и лес, а луна становится как белый пушистый котенок. Все они, эти мужчины на хуторах, смотрят только себе под ноги, словно ищут там что-то, все они только пахнут землю, огораживают ее от чужих людей – а если это так и им не нужна Стефка, то зачем же они тогда живут?

Стефка знала, что Малые Ханевские – старик и старуха – живут не так. И у них есть сын, он приезжает летом из Москвы, а потом уезжает опять в Москву, и там, в Москве, он не смотрит себе под ноги, не ходит, опустив голову, а тан-

цует полонез с красавицами в златотканых одеждах, шитых жемчугом. Стефка иногда забегала к Малым Ханевским, и они угощали ее медом со свежим огурцом, янтарно-жидкий мед капал с ложки, старик и старуха с умилением смотрели на Стефку и говорили, что им бы такую внучку – их сын не приезжал уже третий год подряд, и они ожидали его каждый день.

Шел семнадцатый год от рождения Стефки. Старуха Ханевская с весны перестала ходить. Она лежала одна в огромной пустой хате, вросшей в землю, – сыновья жили в своих хатах, разбросанных окрест, и старшему Ханевскому приходилось каждый день посылать одну из дочек присматривать за старухой, отрывать двое рук от работы, носить старухе еду, и он решил поселить со старухой Стефку.

Старший Ханевский видел, что любую работу Стефка делает быстрее и лучше, чем его дочери, но, сделав работу, она убегает на луг, или расчесывает овцам шерсть, или совсем исчезает непонятно куда. Это раздражало старшего Ханевского, и ему казалось, что если поселить Стефку к старухе, то в хозяйстве будет меньше убытка. Сам он заходил к матери все реже и реже.

Старуха Ханевская умирала все лето. Ее тело оказалось крепче смерти, но путались мысли, путались слова, старухе виделся лес, она уходила в него все глубже и глубже, ее руки становились огромными дубовыми ветвями, страшными и корявыми, пронизывающими насквозь все небо. Иногда на

краткое мгновение ее сознание прояснялось, и она вспоминала, как первый раз посмотрела в потресканное зеркало и захотела уйти в лес, чтобы стать повелительницей зверей, и она сожалела, что не сделала этого, теперь вот все равно надо уходить в этот дремучий лес, и она уходила все глубже и глубже, и уже не оглядывалась.

Стефка прожила несколько месяцев с почти заброшенной старухой. Несколько раз старуха просила позвать старшего сына. Когда он приходил, она пыталась что-то сказать ему, растолковать, но у нее ничего не получалось, старуха злилась, старший Ханевский всегда слушался мать и догадывался, что она требует от него того, чего требовала всю жизнь: «Глядеть, глядеть свое и своих», «глядеть» каждую мелочь, «глядеть» в оба, знать все наперед. Все это он уже слышал не один раз, и поэтому перестал приходить, старуха осталась одна – Стефку она не считала своей.

XXXII. Золото в кожаном и полотняном мешочках

Старшего Ханевского никто не называл бы недалеким. Но особенной сметки, хитрости – не хитроглупости, хитрозадости, а расчетливой хитрости, граничащей с догадкой, предчувствием, а тем более тонкого лукавства, ловкой мудрости, точной, мгновенной и действенной (в отличие от мудрости стариков, недейственной, дошедшей уже до понимания превосходства недействия, недеяния над любым действием) – у старшего Ханевского как раз и не было, и ему и в голову не приходило, что старуха Ханевская, скуповатая (но в меру), как весь ее род, толково скуповатая, приберегла на черный день не только советы.

Старуха незаметно скупилась всю жизнь, с детства недоедала за столом окрайчик хлеба, оставляла на потом, хотя у Ханевских-то хлеба хватало всегда вдоволь, окрайчик потом доедался, но когда она уже держала в руках семью и расселяла сыновей, навсегда занимая их семьями «добрые» куски земли, отнимая их у соседей, а муж послушно топтался по хозяйству, не вникая в ее счета с соседями, а главное, в счета с этим миром, пашней, лугом и лесом, старуха незаметно для себя откладывала каждую третью и потом каждую вторую золотую пятерку.

Золото в большом кожаном мешочке жило, собиралось,

уходило и опять прирастало, а в маленьком, тощем полотняном, ни для чьих глаз, медленно собиралось. Кожаный мешочек давно перешел к старшему сыну, и в нем, как и положено, водилось кое-что, а полотняный стал тугим, полным, набухшим и лежал в головах у старухи маленьким, желтым изнутри нарывом в угасающем, сумеречном сознании, никто его не видел, никто о нем не знал, как не догадывался о его существовании и старший Ханевский.

Старуха раз за разом посылала Стефку за старшим сыном – но он так и не пришел. И тогда старуха достала из-под головы полотняный мешочек и высыпала в миску со сметаной тоненькие золотые пятерки. Никто не считал Стефку сообщительной, все считали почти дурочкой, а напрасно. И когда старуха Ханевская взяла слабыми, озябшими старческими руками миску и поднесла ко рту, Стефка подбежала к ней и выхватила миску.

Старуха пришла в ясное сознание, только не могла говорить, и долго смотрела на Стефку. Старуха понимала, что и ее младшая дочь, вышедшая за Ивана Волкова почти вопреки ее воле, и Стефка, которой даже в голову не приходило, что нужно подчиняться старухе, как будто победили ее, но это не было победой, старуха ни в чем не уступила им, а только признала равными себе, не смогла удержать их в своей всеподавляющей воле.

Она понимала, что золото, попавшее в руки Стефке, никогда не достанется Ханевским, Стефка распорядится им как

младшая дочь старухи распорядилась своей жизнью, выйдя замуж за Волкова (Волк-Карачевского). И она согласилась, как когда-то согласилась отпустить младшую дочку, согласилась, потому что ничего не могла сделать и еще потому что уже была недовольна и старшим своим сыном, и остальными.

Старуха не хотела отдавать Стефке золото, но когда золото оказалось у Стефки в руках, старуха не стала жалеть об этом. Золото Стефка вырвала из ее слабеющей руки, а назавтра старуха уже сама разжала руку и отдала и землю – луга, поля, лес – и сыновей, их жен и хозяйство – все то, что до этого крепко держала в руках.

XXXIII. Похороны старухи Ханевской

Старуха умерла как и жила – зная, что делает, ушла словно по своей воле, ее отношение к собственной смерти было похоже на ее же отношение к смерти тех ее детей, которые умерли в детстве: раз это так, пусть будет так. Она лежала на старинной деревянной кровати, словно на троне, укрытая самотканым покрывалом. Поверх покрывала лежали ее руки, из которых Стефка выхватила миску с золотом, а время забрало из этих рук леса, поля и луга, которые когда-то старуха обходила всего за один день.

Старуху Ханевскую похоронили торопливо. И потому, что уже начиналась осень и некогда отрываться от работы, и потому, что на хуторах не любили похорон и все с ними связанное.

Как и все остальные люди, хуторяне не знали, что такое смерть. Когда у них кто-нибудь умирал, то те, кто оставались жить, как будто догадывались, что раз время от времени умирают старики и старухи, то и тем, кто остался пока жить, рано или поздно тоже придется стать стариками или старухами, а потом и умереть то ли по своей воле и желанию, то ли по какой-то неизвестной необходимости или чьему-то приказу. Но хуторяне (как и все остальные люди) упорно отгоняли эти догадки и находили тысячи причин и отговорок, чтобы не думать, что и им когда-либо придется умереть.

Жителей Рясны и всех окрестных деревень и людей, живших в других деревнях и городах, например в Мстиславле, Смоленске и Москве (а если двигаться по дороге из Рясны в другую сторону, на запад, то и в тех деревнях и городах, которые можно отыскать и там), смерть одного из них всегда заволакивала, и они незванно собирались у дома умершего, толпились у входа, ждали, пока вынесут гроб – домовину, то есть дом, без дверей и окон, из него уже не выйдешь на крыльцо этого дома, в окошко не заглянут ни солнце, даже в хорошую погоду, ни месяц в ясную ночь, – люди приподнимались на цыпочки, вытягивали вперед голову, обостряя бритые подбородки или вытягивая вперед бороды, стараясь увидеть лицо покойника, и, как покорные овцы, шли до кладбища, заглядывали в яму и, в который раз убедившись, что тому, кого в нее опустили, из этой ямы уже не выбраться, подавленные и растерянные, расходились по домам и забывали то, что видели только с утра следующего дня. Хуторяне за долгие годы жизни отдельно от других людей привыкли переживать свой страх каждый сам по себе, не собирались вместе по случаю смерти кого-либо из не прямых родственников и не заглядывали последний раз в лицо покойнику.

Каждый род хоронил своих умерших сам: Вуевские – Вуевских, Ханевские – Ханевских, Волк-Карачевские – Волк-Карачевских. А когда это происходило у соседей, заставляли себя в тот день не поворачивать в их сторону головы, чтобы нечаянно не разбудить страх, дремавший где-то внизу живо-

та и иногда шевелившийся легким холодком.

После смерти старухи Стефка вернулась в хату старшего Ханевского, и никто не слышал от нее, такой пустоболтливой, ни слова о полотняном мешочке, как никто не нашел ее золототканые и шитые жемчугом одежды, хотя и искали после смерти младшего Ханевского. С того времени она и начала ездить на базар.

Она не скрывала, что ездит высматривать жениха. И рассказывала, что ее отец и мать познакомились на базаре, и раз никто не встречается Стефке, когда она стирает одежды, как Навсикая, значит нужно ехать на базар – на базаре много разных людей, ктонибудь да приметит Стефку. А базар находился в Рясне.

XXXIV. Происхождение названия Рясна

Итак, место называлось Рясна. Та Рясна, которую я помню и знаю, и как я ее помню и знаю, находилась на плоском, растоптанном за долгое время холме*.

** Холм, на котором располагалась Рясна, не имел ничего общего с холмами, на которых обычно стоят хутора. Во-первых, холмы, на которых стоят хутора, не растоптаны – на них никогда не толпится, не топчется столько народа, приезжающего на базар что-нибудь купить или что-нибудь продать. Во-вторых, они намного меньше. Сев во дворе хутора, обнесенного частоколом, такой холм можно охватить, широко раскинув руки. Волк, пробегая мимо такого холма, не успевает скосить в его сторону глаза, сорока, лесная жительница, не облетает его полудугой, а мелькает над крышей избы. Что же касается Рясны, то ее не то что охватить – не обойти из конца в конец, запутаешься в переулках, улочках, а волку, чтобы обезжать ее, нужна целая ночь, и он бежит, скаля зубы, подняв хвост, озираясь, косясь бешеным глазом в сторону огней и ночного тепла от жилья, а днем никакой волк не подойдет к Рясне и на версту. А что касается трещетки сороки, то она никогда не залетает в Рясну, потому что ей там нечего делать.*

По первому впечатлению кажется, что все холмы как будто выросли из земли и возвысились над окрестностями. На самом деле это не так. Воды – начиная с дождей, потом ручьи, ручейки, речки – уносят то, что легко смывается, и все вокруг понижается, а то, что не поддается текучим водам, само место, оказывается приподнятым над местностью: оно остается.

И когда на нем приживаются люди, оно – это место – рано или поздно получает название, которое часто толкуется по-разному. Толкование названия Рясна имеет свою историю и значение.

Для топографического описания очень важно все, что связано с названием, любые подробности и казалось бы, незначительные факты и мелкие детали. Для этого даже выделена отдельная наука; как всякая наука, она называется по-древнегречески: топонимика. Я уже писал, что подробности часто имеют большую ценность и чаще всего выясняется, что они более значительны, чем то, что считается главным. А так как день, предшествующий Погромной ночи, еще только начался, то есть возможность разобрать все, относящееся к названию Рясны, не спеша, не пропуская эти самые подробности, и они придутся к месту в общей картине и представят интерес сами по себе, особенно для тех, кто вникает в них, понимает их значение и ценит их так, как ценю я.

Это потребует значительных отклонений от повествования, но отклонений оправданных. Такие отклонения мне

придется делать не один раз, и тому, кто будет разбираться во всей этой топографии, нужно привыкнуть к ним сразу.

Посредине Рясны лежала большая, не высохавшая даже летом лужа, затянутая зеленой водой. Лужа называлась Абшара («Обшара», если его писать, и «Абшара», если произносить вслух). Слово «абшара» – местное, означает пространство, раскинувшееся пространство, такое пространство, которое не окинуть оком, взором, не «обшарить» взглядом. Можно сказать: обшары болот, обшары морей и даже обшары Вселенной, хотя их – обшары Вселенной – как раз и легко окинуть оком, стоит только дожидаться ясной летней или зимней ночи и посмотреть, провести взглядом от горизонта до горизонта, это не то что ряснянская округа: чтобы осмотреть ее, нужно долго выхаживать по дорогам-проселкам, а то и по бездорожью, по едва приметным тропинкам, заглядывая в каждый закуток, расспрашивая и запоминая. Как соответствовало слово «Абшара» тому, что оно обозначало в Рясне – то есть хотя и большой, похожей на Средиземное море, но все-таки не такой уж и бескрайней луже с заросшими травой берегами – неизвестно.

Считалось, что именно благодаря Абшаре и появилось название Рясна. Слово «рясна» в переводе с древнеславянского языка означает «сырое место». Такое название представлялось правильным. Все знали, что «ряска» – зелень, которая появляется в стоячих водах, маленькие двойные лепесточки, плавающие поверх воды. Абшара, отплескав с весны полной,

талой, свинцово-холодной водой, к лету покрывалась зеленой ряской на виду у всей Рясны.

Но находились люди, которым такое происхождение названия «Рясна» как будто не нравилось, и они, отводя в сторону глаза, говорили, что возможно и другое объяснение. Есть слово «ряское», означающее многолюдье, большое скопление людей (как ряски в воде или как людей на базаре в воскресный день). Рясна – место всегда густонаселенное. А уж по воскресеньям на ряснянском базаре тем более толкалась многолюдная, суетливо пестрая толпа, всех не сосчитать, поэтому Рясна и получила свое название, скорее всего, от слова «ряское» – людное.

XXXV. Разногласия по поводу толкования названия Рясна

Противники этого толкования появились уже после второй войны с немцами. Они утверждали, что слово «ряское» – выдумка, его не существует, его нет в словаре Ожегова, который привез с собой новый директор школы Катрашов, словарь этот толще Библии, и в нем среди бесчисленного множества слов есть слово «ряска»: «сплошной слой на поверхности стоячей воды, образуемый водяными растениями, имеющими форму мельчайших зеленых пластинок, а также само это растение» – как будто Ожегов бывал в Рясне и стоял на берегу Абшары, летом затянутой ряской, и видел, окидывал ее всю взором, как ночное звездное небо, а вот слова «ряское» – людное – нет.

Но им отвечали, что слово это есть – произнеси его вслух: «ряское» – вот оно и есть, и местные жители употребляют его в значении «людное», в этом легко убедиться, если походить по окрестным деревням и порасспрашивать. Известно, что все слова попали в словари благодаря расспросам, и даже Даль (не то что Ожегов), чтобы составить свой знаменитый словарь (а ему и словарь Ожегова не чета), долго ездил по России и расспрашивал людей, записывал слова на бумажку, а потом уже вносил в словарь. И если бы он побывал в Рясне и в деревнях ряснянской округи, то слово «ряское» – люд-

ное, тоже оказалось бы в словаре и полноправно существовало бы в этом мире, хотя, возможно, оно и есть – словаря В. И. Даля, в отличие от словаря Ожегова, в Рясне никто не имел.

Окрестные жители ничего не слышали про Владимира Ивановича Даля, не любившего по какому-то темному чувству русскую грамматику и не однажды предупреждавшего о вреде грамотности без должного просвещения. Словаря Даля окрестные жители тоже никогда не читали, хотя и были все, за исключением древних стариков и старух, грамотными, и поэтому подтверждать существование слова «ряское» они не торопились.

Их собственные поселения назывались просто и понятно: Каменка, Дубровка, Кричеватка (как ее, знаменитую своими безотказными бабами, не упомянуть в любом списке, всегда приходит на ум), Zubовка или еще проще и понятнее – Черноречка, родина Коновалова, добрейшего человека, в Черноречке все Коноваловы, все два десятка дворов, но знают только двоих: того, что стал академиком и однажды обедал в Кремле со Сталиным, и самого Коновалова, учителя физкультуры, считавшегося директором школы до приезда директора Березина, того самого Коновалова, который был лучшим другом следующего директора школы – Катрашова. Катрашов, как человек приезжий, смелый и решительный, не зная кричеватских баб, возил Коновалова в Кричеватку свататься; Черноречка – черная речка, и в самом деле есть там

такой ручеек, речушка, речушечка, а по берегам дикая черная смородина – вот и Черноречка, а откуда название Рясна – кто ж ее знает. Сразу же путали происхождение названия с происхождением самой Рясны и об этом говорили охотнее.

Деревни ряснянской округи не только понятно назывались, но и понятно откуда взялись: всегда здесь были, и люди в них понятно откуда – всегда жили, и понятно какие – такие, как все.

XXXVI. Что такое люди

В отличие от деревень ряснянской округи Рясна – сброд, сброд со всего света, дедов не знают, отцов не ведают, каждый откуда-нибудь. Ветрами мело по свету, по миру несло людишек без корней, как сор, а приостановились, зацепившись у придорожного кабака – кабак стоял на дороге посредине между Мстиславлем и Могилёвом, на дороге в Москву и из Москвы.

А раз посреди пути-дороги, то или поесть, или переночевать, вот и завелось жильё, и люди около, а раз при кабаке, то и люди известно какие: пришлые, чужие, разношерстные, без роду-племени, а потом обсели евреи, вместо кабака – корчма рыжего Мойши, пошла торговля, из деревень хотя-нехотя стали приезжать и мужики, и хуторяне – вот и базар. Базар, кабак, корчма (потом послевоенная «Чайная», потом столовая с «пяточком») да улица, да проезжая дорога, да Абшара: вот и Рясна.

А есть ли слово «ряское» – людное? Было ли? А значит ли слово «Рясна», что, мол, много в ней людей: так какие же это люди* – сброд.

** Тому, кто часто задумывается и имеет привычку размышлять, что такое люди, человек, а тем более все вместе – люди, а уж тем более, зачем они и откуда, понятно ничуть не больше, чем то, что такое время*

и что значит жить, и почему однажды ночью они – люди – ставят мелом на заборах, воротах и на стенах домов белые кресты и потом убивают тех, кто в этих домах, и кто из них прав: те, что пришли убивать, или те, которых сейчас убьют. Известно только, что они (люди) есть, а то, что они есть, и называется жизнь, жить, быть. А те, кто старается говорить велеречиво и возвышенно, называют все это (то, что они, люди, есть) «бытие», а когда их нет, то это называется «небытие».

Непонятно, что такое люди и что такое человек. Человек ли тот человек, который не один из людей, а совершенно один – но не один на необитаемом острове, или ушедший от людей в пустошь, пустынь, скит, а собственно один во всей Вселенной, во всем бытии. И даже неизвестно, из одной ли части или из двух частей – половинок – состоит человек, то есть отдельный мужчина и отдельная женщина – это человек или нет, или только когда они вдвоем – мужчина и женщина – только тогда они и есть человек, а по отдельности – нет.

Еще невозможнее ответить на вопрос, зачем они – люди. Известно, что самое важное, первоочередное, самое главное для них – прожить дневное время, то есть пока светит солнце. И если пока светит солнце их не убьют такие же люди, как они сами, если их не затопит водами, пролитыми с неба, не разметает ураганами – разными ветрами страшной силы, то они только и заняты тем, что огораживают

больший или меньший кусок земли, и с удивлением прислушиваясь к чуть слышному стуку в левой части своей груди, отсчитывают (в уме, а потом – с помощью календарей и часов) время, находят женицину (что такое женицина, объяснить еще труднее, этого не может понять никто) и отнимают у бездны-времени детей, эти дети останутся вместо них, когда они сами уйдут, провалятся в эту самую бездонную, зияющую бездну-время. Для чего и почему они все это делают, люди не знают, а в большинстве своем и знать не хотят.

XXXVII. Положение Рясны относительно сторон света

Ряснянцы – жители самой Рясны, за исключением тех, кто, прожив в Рясне некоторое время, покидал ее и больше не возвращался, или жил иногда и долго, а то и всю жизнь, но собирався, как только представится возможность, уехать – делились на новопришлых, тех, кто откуда-то прибыл и осел навсегда, и старопришлых – тех, кто родился в Рясне от когда-то прибывших, приехавших или пришедших пешком.

Болотное происхождение названия Рясны задевало старопришлых. А новопришлые воспринимали это толкование безразлично, словно не принимая на свой счет, они-то и польщались на кажущуюся понятность и ясность объяснения названия от слова «ряска».

Рясна помещалась в центре ряснянской округи, километрах в трех-четырех от хуторов (от поселка Вуевский Хутор)*.

** Неточность расстояния объясняется тем, что измерение расстояний между селами и городами ведется от разных точек. Проще всего было бы измерять от центра одного города до центра другого и до центра села, деревни и хуторского поселка. Но людей, живших в городах (а тем более в селах, деревнях и на хуторах), мало интересовали расстояния,*

отделявшие их от соседских городов, сел, деревень и хуторов. Эти расстояния большие всего доставляли хлопот тем, кто, обычно не по своей воле, а по какому-нибудь принуждению, тряся в кибитке почтовым трактом или скользил по этому тракту на полозьях, без изнуряющей однообразием тряски, но то и дело поплотнее укутываясь в шубы и тулупы, что тоже не влаеть.

Вот они-то и помнили каждую версту, они-то и следили за их чередованием, за мельканием полосатых столбов, специально для этого расставленных по дорогам, они-то и завели обычай считать эти версты от почтовых станций, где приезжающие и проезжающие усаживались в кибитку на колесах или в возок на полозьях, а не от геометрически определенного центра, установленного знающими людьми с помощью циркуля и линейки, любимых приспособлений древнего грека Евклида.

А расстояния, которые измерялись не по почтовым трактам, а по проселочным дорогам, определялись еще вольнее: то от порога до порога, то от околицы до кабака или до базарной площади.

Расстояния внутри ряснянской округи доходили до десяти – пятнадцати километров, а за пределами округи расстояния заменялись на направления, а дальше – на представления.

Рясна помещалась посредине дороги. Дорога в одну сторону шла на запад – следом за заходящим солнцем (когда

солнце начинало клониться с высоты небосвода), а в другую сторону дорога тянулась на восток, ориентируясь на восходящее солнце, отскакивающее как мяч от горизонта летом и медленно, сонно пробирающееся через плотные серые ватные облака зимой, окрашивая их в сердито красные тона и обещая тем самым морозный день.

На запад дорога шла на Могилёв, дальше – на Варшаву (потом между Могилёвом и Варшавой возник Минск, и тоже много что значил), а за Варшавой – на Берлин, там был немец с его железом, добротным инструментом, порядком, аккуратностью и чистотой, ратушами на торговых площадях, Магдебургским правом, грабежами и пожарами войны и убийством всех, кто сопротивляется, а за ним еще и Париж, с его тонконогими девицами, легко согласными облакать любого, кто заплатит им хотя бы самую мелкую монетку, и с Наполеоном в 1812 году.

На восток дорога, миновав Мстиславль, уходила в поля, пряталась в леса и шла себе на Смоленск – туда гоняли скот скупщикиевреи (пока Данилов не забрал в свои руки всю торговлю скотом), а дальше были Вязьма и Можайск и, наконец, Москва. За Москвой, где-то далеко-далеко лежал Китай, в нем жили китайцы – люди с узкими прищуренными глазами, в шляпах из рисовой соломы.

Не на западе и не на востоке, а неизвестно где находился город Вавилон. О нем было известно из-за случавшегося там столпотворения – собрания толп народа, по-видимому,

в воскресный день на базарной площади. Аким из Zubовки много раз называл Вавилоном* Рясну, и потому все знали о его существовании.

** В Вавилоне, по-видимому, люди бессовестно обманывали друг друга, особенно когда продавали поросят: кормили их молоком с сахаром, чтобы они казались упитанными, розовыми и веселыми, и потому плохо ели толченую картошку, мужики напивались в кабаке и в чайной и валялись пьяные на земле, что в грязи осенью, что на снегу зимой, бабы приторговывали самогоном и обирали пьяных, а они так и смотрели, как бы залезть к бабам под юбку своими корявыми ручищами. Все это случалось и в Рясне, и это выводило из себя Акима из Zubовки, и он проклинал Рясну и Вавилон и уходил с базарной площади, призывая громы небесные и землетрясения на весь людской род.*

Где-то за Москвой был и город Бухара – о нем и о его базаре рассказывал осевший в Рясне после тюрем и лагерей Илдаш, узкоглазый, но не тонкий и улыбчивый, как китайцы, а круглый, с плотоядными уголками губ, с неспешной крадущейся походкой убийцы. И еще где-то там была Сибирь, из которой нет возврата, куда ссылали по приговору деревенского «мира» конокрадов и поджигателей, а потом, после Погромной ночи, справных хозяев, кого не убили сразу, тех, которые не сумели откупиться в сельсовете и не верили, что у них отберут землю, коров, коней, избы и одежду получше и под конвоем погонят в Мстиславль, а потом в Оршу, потому

что там железная дорога, а по ней в товарняках в эту самую безвозвратную Сибирь*.

** Безвозвратную, потому что из нее никто не возвращался живым; это декабристы, те, которые хотели в декабре убить самого царя, вернулись, им разрешил царь, простив их по давности лет и по отходчивости доброго царского сердца, а еще потому, что жены у них были французского происхождения и не могли привыкнуть к морозам, неслыханным и невиданным во Франции, а из справных хозяев ряснянской округи не вернулся ни один.*

Вернулся только зубовский плотник, по прозвищу Младший Брат, тот самый, которого любила Стефка Ханевская, к ней он и вернулся, сбежал, но, во-первых, не надолго – дня на три-четыре, во-вторых, он и не был справным хозяином, а в-третьих, его возвращение – это исключение, нужное только для того, чтобы подтвердить общее правило, и поэтому, несмотря ни на возвращение декабристов, ни на побег Младшего Брата, Сибирь как была, так и осталась безвозвратной, то есть это такое место, откуда нет возврата, если тебя туда сошлют, отвезут, отобрав перед этим все, что у тебя есть, даже полушубок, как у отца поэта Твардовского, за что поэт и застрелил потом Сталина из браунинга, который ему как-то подарил земляк, рядовой солдат, такой же «смоленский рожок», как и сам Твардовский.*

Москва сама по себе, как и Рясна, занимает срединное по-

ложение. На запад от нее раскинулись разные города, чаще людные, на восток – теснятся страны и местности, тоже часто населенные разными людьми. Особенно хорошо заметно срединное положение Москвы на глобусе – круглой модели Земли, которая имеет ряд преимуществ перед плоским, искаженным изображением на карте.

XXXVIII. Отступление о сыне бабки Клеменчихи

На глобусе Москва расположена не только в самом центре, но и как бы повыше всего, что лежит справа и слева. Она как бы гнездится на макушке округлого холма земного шара, напоминая тем самым хутор. А на другой стороне этого шара (если заглянуть на обратную сторону глобуса) находится Америка с городами НьюЙорк и Лос-Анджелес*.

** Нью-Йорк – в Америке самый главный город, потому как в него и привозили каторжников, воров и продажных жещин, которые потом и обосновались в Америке, после чего она и стала Америкой, а до этого числилась Индией. В Лос-Анджелесе поселился сын бабки Клеменчихи. Во вторую войну с немцами немцы забирали всех, кому исполнилось шестнадцать лет, на работу в Германию. Сгоняли на базарную площадь в Рясне, если кто не хотел идти, били прикладами винтовок. А потом гнали дальше, в Оршу, и в товарняках везли в Германию. Если кто бежал – стреляли и убивали насмерть, и даже не было кому похоронить. А уже в Германии заставляли работать: поднимать что-нибудь тяжелое, копать землю, что-нибудь таскать, носить.*

У немцев так было задумано: часть людей убить, чтобы самим жить на той земле, которую занимали

эти люди, а часть заставить работать, чтобы не работать самим, а только присматривать с оружием в руках за теми, кто работает (оружие – винтовки, автоматы, пистолеты – было нужно для того, чтобы убить тех, кто откажется работать).

Сыну Клеменчихи тогда только-только минуло четырнадцать лет, а на вид ему давали все семнадцать, потому что он удался и ростом и силой (еще и умом, и послушанием, и сообразительностью, а почему бы ему не удался, она нажила его в молодые еще годы от непьющего, толкового, крепкого мужика, года три кормила грудью, Бог давал молока, и потом берегла ему самый лучший кусок, и любила, и ласкала, и меру знала, строга была и справедлива, когда надо: вот он и удался, хотя все это, и ум, и послушание, с первого взгляда не бросается в глаза), а рост легко заметить, вот немцы и забрали его, бабка Клеменчиха шла следом и доказывала, что сыну всего только четырнадцать, а ведь брали шестнадцатилетних, Клеменчиха совала немцу бумажку, свидетельство о рождении, но немец не стал смотреть бумажку, он даже не умел разобрать написанное русскими буквами.

А словам Клеменчихи то ли не верил, то ли в отличие от других немцев, славившихся точным выполнением всякого предписания, он подходил к своему делу не по предписанию, а по здравому смыслу: ведь немцам было нужно не то, чтобы сыну бабки Клеменчихи исполнилось шестнадцать лет, а то, чтобы он мог поднимать что-нибудь тяжелое, копать землю, что-

нибудь таскать, носить – а сын бабушки Клеменчихи все это уже мог.

Из Германии он потом и попал в Америку, стал инженером, фамилию Клеменков ему переименовали на Клеменсон (американцам, в большинстве своем не знающим русского языка, трудно выговаривать Клеменков), и писал бабушке Клеменчихе письма, и, уже не помня хорошо свою фамилию, подписывал их «Клеменсон», и бабушка долго сомневалась, он ли это, пока сын не прислал ей посылками крышу – хибара бабушки Клеменчихи могла простоять сто лет, потому что после войны почти вся была обшита листовым железом от каких-то машин, бабушка первая догадалась, как приспособить эти куски железа с заклепками, оставшиеся после немцев, но крыша текла, перекрыть ее было нечем, и вот когда сын прислал ей рулоны с кровельным материалом, ленту и гвозди, а соседи помогли накрыть эту диковинную крышу, тогда бабушка и поверила, что да, Клеменсон из Лос-Анджелеса в самом деле ее сын, кто-нибудь чужой не пришлет тебе крышу, да еще с другого конца света (или с другого бока света, если смотреть по глобусу), из Америки.

XXXIX. Примечательные постройки Рясны

Таким образом, Рясна, как я ее помню и знаю, находилась недалеко от Вуевского Хутора, на дороге, уходящей на запад и восток, по этой дороге можно идти в любую сторону, куда хочешь. В центре Рясны располагались Абшара и базарная площадь. Дорога протискивалась между ними. На восток она шла по улице, которая называлась Выгон. А на запад спускалась с крутого косогора и через речку Вербовку поднималась по Зареченской улице.

Улицы, продолжавшиеся проезжими дорогами, обычно назывались по направлению пути, как потом и вокзалы, заставы и постоянные дворы. Поэтому Зареченскую следовало бы назвать Могилёвской, а Выгон – Мстиславльской. Но в те времена, когда названия появлялись и оседали в памяти, ряснянцы никуда не ездили, наоборот, по воскресным дням люди со всего света съезжались к ним. Купить поросенка или продать за деньги какой-нибудь свой товар. И поэтому Зареченская улица осталась Зареченской – она уходила за речку Вербовку. А Выгон – Выгоном, по этой улице выгоняли пастишь коров.

Дорога, продолжавшая Выгон, шла полями, между погорков – небольших, покатых горушек, и не только давала направление на Мстиславль и Москву, но и соединяла Рясну с

материковой частью Мстиславльско-Смоленской равнины.

Поэтому при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что Рясна помещена не на холме, а на холме-полуострове. Воды – дождей и талых снегов – омывали его с двух сторон, превращая в клин, выступающий на запад. С одной стороны этот полуостров охватывала огромная ложбина, Костяря, по ней весной неслись мутные потоки воды, оставляя, словно Нил, даритель жизни древних египтян, слой плодородного ила, и летом здесь росла густая, высотой в пояс, трава.

С другой стороны полуостров огибала речка Вербовка, а между ней и впадавшим в нее Безымянным Ручьем тоже был полуостров, поменьше размером, словно прилепившийся к большему. На нем стоял высокий помещичий дом со стрельчатыми окнами, закругленными кверху.

В настоящем описании будет уделено большое внимание примечательным постройкам – где бы эти постройки ни находились. Так издавна принято в топографических описаниях, и я не стану нарушать эти традиции и отступать от уже сложившегося правила. Самым примечательным строением Рясны была халупа Стефки Ханевской, в которой она жила, после того как сбежала с хуторов. Примечательно уже само слово «халупа». То, что строилось или приспособлялось для жилья, в Рясне делилось на три разряда: дома – на фундаменте из кирпича и цементного раствора, хаты – иной раз не хуже, чем дома, но обычно поменьше и без фундамен-

та, с земляной завалиной, заменявшей фундамент, и хибары – жилье, собранное из разного материала: одна стена из бревен, другая из досок, утепленных соломой, и обмазанных глиной, третья еще из чего-нибудь – и все это, конечно же, без фундамента.

Халуп в Рясне, за исключением халупы Стефки Ханевской, в общем то и не осталось.

Халупы плели из ивовых прутьев, обмазывали глиной, пола и потолка у них не было, крышу тоже обмазывали глиной. Халупы не строили – их лепили. Поэтому позднее выражение «слепить халупу» иногда употребляют иронически, как бы в переносном смысле. Подсобрав деньжонок, прикупив загодя стройматериал, подрядив по сезону подешевле плотников, раскошелившись на кровельное железо, выхлопотав место на Выгоне, где и поровнее, и соседи позажиточнее, какой-нибудь житель Рясны ставил дом, похаживал вокруг него и говорил соседям и просто подошедшим позавидовать: «Вот, слепил себе халупу», – пряча довольную улыбку, прикидываясь простачком, но, зная, что, «слепив» такую «халупу», в простаках он уже не числится.

К тем временам, к которым относится это описание, Рясна выжила из халуп. Слово «халупа» в Рясне употреблялось с оттенком пренебрежения, а напрасно. Слово это происходит из самых знатных языков – древнеиндийского и древнегреческого, и обозначает не только «плетеный шалаш», но и «укрытие», «кров» в возвышенном, можно сказать, поэти-

ческом смысле, и даже «ограда», и «защита».

История Стефки Ханевской подтверждает эти высокие значения.

XL. Халупа Стефки в Рясне

Стефкина халупа стояла на самом неудобном склоне ряснянского холма-полуострова, обращенного к Костярне. Склон был таким крутым, что на нем невозможно поставить ни дом, ни хату, а только и оставалось, что прилепить к нему халупу. К тому же на красном глиняном склоне не задерживалась черная земля, накапливавшаяся на ровном месте, на нем не росла картошка, и поэтому Стефкина халупа стояла одна-одинешенька, не окруженная и не теснимая соседями, что всегда хорошо.

Это было самое древнее сооружение в Рясне. Кто-то когда-то соорудил ее здесь из тонких ивовых прутьев и глины, потом еще раз оплел ивовыми прутьями, обмазал толстым слоем глины, крышу несколько раз обжигал, раскладывая на ней огонь, ивовые прутья внутри стен истлели в труху, а сама халупа превратилась в глиняный горлач с пористыми, толстыми стенами, с маленькой печкой внутри, с кроватью, занимавшей четверть халупы, кровать тоже была вылеплена из глины, ее нельзя было подвинуть, как и ложе Одиссея и Пенелопы.

В этой удивительной халупе было тепло зимой, прохладно в летний зной; чтобы осветить ее, хватало маленькой лампадки, а в лунную ночь можно обойтись и без лампадки – маленькое окошко, застекленное кусочками стекол, среди кото-

рых попадались и цветные, оказалось такого размера и формы, что луна целиком вмещалось в него, как в специально приготовленную, подогнанную для нее раму, и лила свой завораживающий, колдовской, тягуче-сапфировый свет прямо в Стефкину халупу, обделяя на тот момент своим светом и Рясну, и весь спящий мир.

Из других прочих примечательных строений Рясны нужно отметить костел и церковь, они находились по разные стороны базарной площади; незаметные в самой Рясне, они хорошо видны издали всякому, кто двигался к Рясне с запада или с востока; «Чайную», поставленную на месте кабака рыжего Мойши, на краю базарной площади, у самой дороги, напротив Абшары; дом Зотова, сразу за Абшарой; постройки в северо-восточном углу базарной площади, загораживавшие костел: волостная управа, позже сельсовет; дом скупщика скота Данилова, чуть не разорившего всех местных евреев, позже занятый под заготскот; торговые ряды, позже на их месте построили магазины «Продмаг» – продовольственных товаров и «Сельмаг» – промышленных товаров; в пятидесятые годы – хлебный ларек, во все годы – водочный ларек под названием «Клин» – эти постройки смыкались с «Чайной».

А до второй войны с немцами особо выделялись дома евреев*, огороженные не заборами, а настоящими бревенчатыми стенами.

XLI. Евреи в Рясне

** Евреи – это народ, с древних времен рассеянный по свету, который вот уже несколько тысяч лет обижают все, кто только может. В Рясну они попали из Польши и хотели попасть дальше – дорога вела и в Смоленск, и в Вязьму, и в Москву. Но чтобы попасть в Москву, требовалось спросить разрешения русского царя.*

У царя на тот момент было два главных советчика. Один из этих советчиков между делом вел торговлю, евреи скупали у него пушной товар и поставляли в далекие страны. Этот советчик и советовал царю допустить евреев и разрешить им селиться и в Смоленске, и в Вязьме, и в самой Москве.

А другой советчик был книжник, строгий и неприступный. Он зачитал царю по старым книгам повествования о том, как евреи распяли такого же, как они сами, еврея – Иисуса Христа, и ничего не советовал, а сидел молча, сложив свои книги и словно говоря: решайте сами, я свое слово сказал, а брать на себя ответственность и не подумаю, как решите, так вам и аукнется, когда придет время держать ответ. Царь испугался и отказал евреям в их просьбе и разрешил только торговать у границы – а граница как раз проходила недалеко от Рясны, – все окрестные земли до Смоленска тогда находились «под Польшей», хотя

самых поляков местная шляхта сюда не допускала, зная их несерьезный и бестолковый, гонорливый нрав.

Поэтому евреи и осели в Рясне, построили себе дома и обнесли их бревенчатыми стенами. Вместе с евреями к царю ходили и цыгане, но они не расписывали выгод от торговли, и не делали подсчетов, и не обещали доходов царской казне, а сразу начали петь, танцевать и играть на скрипках, цыганки сверкали шелком платьев и гремели золотыми кольцами и браслетами (цыгане, как и евреи, очень любили золото, только евреи прячут его, а цыгане стараются показать все золотое, что у них есть), звенели гитарами, мужчины ввели медведя, лихо отплясывали вприсядку – и царь разрешил им ходить и ездить вдоль и поперек по всем землям, несмотря на то, что, пока пели и плясали, цыгане успели увести из подмосковной деревни двух лошадей.

Позднее один цыган вернулся в Рясню вместе с другом и названным братом, казаком с Дона. Раздобыв где-то бабу, они основали одну из деревень ряснянской округи – Кричеватку. Узнав от названных братьев об успехе цыган, евреи купили себе где-то за немалые деньги скрипки и опять отправились в Москву.

Но на скрипках евреи играли грустные, тоскливые мелодии – хоть плачь, ссылаясь на свою горестную и скитальческую жизнь и оправдываясь тем, что их все обижают, и тем, что скрипка такой уж жалостливый инструмент (хотя цыгане тоже играли не только на звонких гитарах, но и на скрипках, правда, это были совсем другие, веселые, молдавские скрипки).

Писатель Чехов объяснил, что тоскливым мелодиям евреи научились у одного русского гробовщика, понятное дело, веселому гробовщик не научит, сам Чехов не отличался разудалым весельем, но любил пошутить, иной раз даже мрачно; еврею, научившемуся этим мелодиям, он дал фамилию Ротшильд – совсем как у знаменитого банкира, богатого деньгами, ссужавшего ими многих королей и даже посылавшего их с помощью голубей в войска, воевавшие против Наполеона, а денег у него было больше, чем голубей. Невеселые мелодии русскому царю не понравились, танцевать, как цыгане, евреи не умели, хотя и старались, к тому же их обвинили в воровстве двух лошадей, пропавших после цыган, и они ни с чем вернулись восвояси, то есть не восвояси, а в Рязню.

Дело тем не закончилось. По прошествии некоторого времени на российский престол, чтобы защитить русскую веру возшла императрица Екатерина II. В детстве у себя в Германии это была заброшенная маленькая девочка, неприласканная, но необидчивая и догадливая. Эту девочку в потрепанном платьице взрослые воры подсадили в окошко, чтобы она пролезла в дом, а потом повернула бы ключ в замке входной двери,пустила бы воров в гостиную, и они забрали бы со стола и огромный пирог с орехами, и серебряные ложки, и прихватили бы дорожную, расшитую золотом скатерть – а девочку посадили бы в угол и отломили бы ей крайчик простого хлебушка, и она жевала бы его всухомятку, сидя

на кухонном табурете и болтая своими детскими ножками, обутыми в стоптанные башмаки.

И девочка повернула ключ в замочной скважине входной двери, но только в другую сторону, запирая дверь понадежнее, на несколько оборотов. Да еще и засов задвинула на всякий случай – и протопав, по парадной лестнице, устланной коврами, привезенными из далекой Персии вездесущими армянскими купцами, уселась за стол в высокое кресло и принялась уминать за обе щеки роскошный пирог, запивая его не изысканными европейскими винами, а простым, но приятным на вкус квасом, а пославшим ее только и оставалось, что топтаться у запертой двери да, поднимаясь на цыпочки, завистливо заглядывать в окна, пока прислуга, неприлично ругаясь, не отогнала их палками от дома.

Екатерина II очень любила все русское, но так как сама по недоразумению судеб происходила из немцев, то в начале царствования ей захотелось навести порядок в государственных делах.

Перво-наперво она решила точно установить, сколько денег должно ежегодно поступать в казну из всех близких и далеких губерний, и потребовала в сенате список этих губерний. Такого списка не нашлось, а сенаторы, в большинстве своем люди уже преклонного возраста, мало того, что не смогли припомнить всех губерний, так еще и перессорились друг с другом по этому поводу.

Екатерина II, больше всего ценившая мир и

согласие в своем окружении, ничуть не боясь уронить монаршьего достоинства, сходила в лавку Академии наук и за пять рублей ассигнациями купила себе подробный географический атлас. Уладив вопрос с количеством губерний (сосчитав их по атласу), как-то на досуге рассматривая этот атлас, она, к своему неудовольствию, заметила, что многие земли, которые вполне могли бы принадлежать великой Российской империи, оказались под Польшею. Возмущенная Екатерина II тут же послала своих полководцев (Суворова, Румянцева и Потемкина), и они присоединили к русской короне все земли, изображенные в атласе, включая и саму Польшу, чтобы императрице не было больше повода раздражаться.

После этих событий евреи попали в странное положение. Им не позволялось жить на территории Российской империи, а оказалось, что они живут на ней, и даже построили себе дома, обнесли их бревенчатыми стенами, и уже давным-давно ведут мелкую торговлю, и открыли в Рясне корчму, и по другим городам и весям, а то и на перекрестках дорог тоже устроили разные питейные заведения, так как у них имелось на то разрешение, выданное еще польским королем, вместо которого теперь в Варшаве посадили даже не губернатора, а генерал-губернатора, так как поляки, народ часто и не к месту вспыльчивый, каждую минуту готовы возмутиться и без всякого повода устроить беспорядки – поэтому к ним и направили губернатором человека военного и в

генеральском чине.

Евреи понимали, чем все это может кончиться. Они помнили королевские указы, изгонявшие их из Испании, Франции, Германии, Англии, и знали, сколько трудов и денег стоило потом вернуться назад. Поэтому они сразу повели дело тонко. Евреи прослышали от своих компаньонов по торговле, что Екатерина II покупала платья в Париже и писала письма Вольтеру, известному скабрёзнику и материциннику, затевавшему споры со многими учеными и устраивавшему скандалы с разными философами и священниками, чтобы приобрести через то известность во всех европейских странах, не чуждых образованности и просвещения. Через этого Вольтера, имевшего среди евреев ростовщиков, они наметнули императрице, что нехорошо обижать народ, пострадавший еще от жестоких вавилонян, устроивших им страшное вавилонское пленение, и не имеющий на этой круглой, как глобус, земле своего угла, а потом снарядили к ней посольство.

Екатерина II все поняла. К тому времени она уже много лет прожила в России с несомненной для себя пользой, так как большие всего на свете любила париться в русской бане, а ежегодные поступления в казну из губерний научилась определять на глазок, и провести ее в чем-либо теперь уже было невозможно.

Императрица пообещала евреям решить их вопрос на одном из ближайших заседаний сената и продолжала выписывать из Парижа модные платья

и переписываться с Вольтером, а до решения сената приказала оставить все как есть: евреев не изгонять из новых пределов Российской империи, денег у них не отбирать, как это часто делали в Испании, Франции, Германии и Англии, но дальше Смоленска не допускать, а находиться им на своих местах, в ожидании одного из ближайших заседаний сената – и евреи послушно ждали этого заседания на протяжении царствования Екатерины II, ее сына, внуков и правнуков, и жили в Рясне, в своих домах, огороженных бревенчатыми стенами, и занимались исключительно торговлей, так как, не будучи учтенными в государственных законах, не имели и законных прав владеть землей, пахать ее и сеять рожь и пшеницу, без которых человеку не прожить.

Рожь и пшеницу евреи покупали за деньги, а деньги у них водились, потому что без денег не бывает никакой торговли, тем более мелкой, с мелкой торговлей любой еврей имеет живые деньги, и их хватает и на рожь, и на пшеницу, мелкая торговля для того и придумана, чтобы люди, которые по недалёковидности когда-то лишились своей земли и им негде пахать и сеять рожь и пшеницу, могли бы как-то прожить на этом свете.

[* * *]

- Рясна находилась за чертой оседлости?*
- Если смотреть из Москвы – за чертой оседлости,*

а если смотреть с противоположной стороны, то перед чертой оседлости. Этой чертой евреев огородили, чтобы они могли жить, как им хочется, и никто им не мешал бы, то есть оградить их от бед, напастей и соблазнов.

– Но говорят, евреи очень обижались за то, что их не пускали за черту оседлости.

– А зачем им было за эту черту? Но многим очень хотелось. Есть евреи – евреи, они обычно торгуют или занимаются чем-либо еще и поэтому у них все хорошо. А есть такие евреи, которым придумалось, что лучшие бы им быть не евреями, и они отказались от своего еврейства, а когда отказываются от своего, то хорошего ничего не получается и приходится возвращаться. И такие евреи уже и не евреи, а неевреи, и им от того совсем не хорошо, а с ними самими и того хуже. Вот они и старались попасть за эту черту, потому что им казалось, что там, за этой чертой, медом помазано и жизнь как в райских садах, описанных в еврейском священном писании. Они даже не обратили внимания, что черта эта только с одной стороны, впереди, а сзади, только оглянись, никакой черты, никакой изгороди. И вот, не оглядываясь, они стали с такой силой напирать на эту черту, что она под их напором выгнулась до берегов Тихого океана, но не прорвалась, а только выгнулась, а концы ее сомкнулись, и из черты оседлости она превратилась в кольцо оседлости, из которого не выскочить, не вырваться. И оказавшись таким образом в ловушке,

евреи стали вырываться из кольца оседлости, а сделать это, как выяснилось, ничуть не легче, чем прорваться за черту оседлости. Чтобы изложить все эти беды евреев, потребовалось бы отдельное описание, но это описание пусть пишут сами евреи, они лучше других знают все подробности и детали, которые очень важны и интересны в таких описаниях.

Евреи жили в Рясне, занимая ее половину, Рясна же находилась в центре ряснянской округи, километрах в трех-четырех от хуторов. А я составляю топографию именно хуторской земли, она, эта хуторская земля, не ограничена никакой чертой – только ночным небом со звездами и луной и дневным небом с солнцем и облаками, и я как раз знаю очень многие подробности и детали, может быть, даже все, очень важные и интересные для топографии именно этой земли.

XLII. Старуха-время

Фактически не в самой Рясне, а за Рясной, там, где дорога уходила в поля и леса, справа от дороги, пока дорога еще не успела скрыться за первым же холмом, стоял полуразвалившийся сарай, примечательный тем, что в нем жила старуха-время*.

** Что такое время, не знает никто. Люди умеют только измерять его – и то по-разному, иной раз способы измерения противоречат друг другу, иногда они даже взаимоисключающие, на самом деле их столько, сколько и людей измеряющих время. Именно поэтому в этом описании мне придется уделять вопросам, связанным со временем, так много места, хотя это ничуть не делает понятие времени более понятным или понятым, но зато многое прибавляет к истории самого вопроса.*

И если что такое время, все-таки никто не знает, то о старухевремени известно довольно много. Старуха-время, еще с тех пор как ее впервые описал писатель П. П. Слетов, жила в заброшенном сарае за Рясною, сидела в углу, затянутом паутиною. Глаза у старухи были выколоты. Она сидела, почти не видимая за сетью паутины, в рваном рыжем овчинном полушубке домашней выделки, под левой полкой полушубка стояла стеклянная пол-литровая банка с икринками – годами.

Старуха брала икринку, терла ее пальцами, из икринки вылуплялся год-малек и уплывал в щель под дверь. Через триста шестьдесят с чем-то дней он возвращался к старухе жухлым березовым листком. Старуха, не глядя, стирала какие-то письма, видневшиеся на нем; письма частично затирались, что-то оставалось, и листок находил себе место под другой полый полушубка, где уже лежала целая куча листьев, в середине сдавленных в плотный пласт, внизу уже бывших просто земляной массой серо-пепельного цвета, кое-где со следами от прожилок листьев или с резным отпечатком зубчиков края листка, а сверху все еще шебуришившихся ворохом, шуриющим под рукой.

Глаза старухе выкололи когда-то сами люди. У людей сложные отношения со временем, а со старухой-временем – тем более. Старуха была молчалива, но глаза ее были вечно живым укором, вот ей их и выкололи, и она с тех пор ничего не видела: ни звезд, проглядывавших между стропил крыши, ни пыльного летнего солнца, ни зимней луны, золотым рожком проткнувшей небо. А слышать – все слышала, потому что слух у слепых обостряется.

И со слухом ей было просто беда: звуки, доносившиеся из Рясны и со всей рясянской округи, даже самые безобидные, вроде шипения угольков лучины, когда они падают в чашку с водой, или свиста ветра (а ведь она сотни лет подряд слышала и все остальное: и первый детский крик, и надоедливые ссоры, и сладострастные вздохи, и предсмертные

стоны, и ругань, и слова молитв), надоели ей своим однообразием, вечным повтором, так надоели, что старуха не выдержала, и однажды бросила свои икринки, и ушла в прочки.

XLIII. Что значит уйти в прочки

«Уйти в прочки» – значит уйти прочь. Такое случается иногда с мужиками, правда, не со всеми и довольно редко. Но случается. Мужику вдруг надоедает однообразная круговерть весна-лето-осень-зима – ведь и правда, сколько раз можно повторять одно и то же, сколько раз можно пахать под озимые, а потом через год опять, а потом – год прошел и опять, и косить – это только вдуматься, каждый год летом косить, косить и косить, одним и тем же движением тянуть косу, а пройдет год – ровно год! – и снова то же самое: трава, скошенная прошлым летом, как будто ее и не косили, и снова те же движения руками, всем туловищем, полишага, шаг вперед с поворотом, взмах и, помогая ногами, опять тянуть косу, прижимая железную пятку к земле и чуть-чуть приподнимая острый носок.

Это если кто не косил двадцать, тридцать лет подряд, тому может показаться в удовольствие и мягкий ход косы, и сочное ее шуриание, и приговорка «коси коса, пока роса», особенно если можно косить, а можно не косить и перед косьбой еще раздумывать-решать: покосить завтра или нет? – и решившись, косить часа четыре, теряя всякое сознание времени и получая от этого особое, ранее не испытанное удовольствие, и блаженствовать,

хлебнув кваску и, идя после скошенного прокоса назад, медленно вытирая пот, вдыхая полной грудью дурманящий запах срезанной острой тонкой сталью травы, оглядываться на тянущуюся вереницу косцов и переменившиеся луг и лес вдаль, и опять вступать в густую, поднимающуюся до пояса траву, нежную, мягкую, лопушистую, кое-где пестреющую иванда-марьей, и опять напрягать тело, удерживая его в тягостной истоме, и видеть краем глаза, как подрезаемая прямо пахнущая трава ложится слева высокими рядами – тогда от косьбы не сойти с ума. А если махать косой каждый год, и нет избавления, спасения и перемены, то среди мужиков и попадают такие, которым оказывается не вможугу выдержатъ вечное это однообразие, тянущееся от отцов-дедов-прадедов и прапрадедов, и тогда однажды, начав один из бесчисленных, неисчислимых прокосов, как не взмахнуть вдруг косой, и вместо того чтобы пустить носок чуть выше и пятку прижать к земле, как не вогнать ее – косу – в плотную дернину луга с такой силой, что не выдержит и переломится косье, и не взвять непонятным самому себе воем, неожиданным-негаданным.

Вот тогда мужик и уходит в прочки: прочь от косы, сохи, прочь от всего, и бродит месяц, а иногда и полгода, а то и несколько лет, пока не вернется снова в назначенный ему круг весны-лета-осенизмы и выберет где-нибудь в лесу, в кусте орешника ровный, емкий побег нужной толщины для нового косья – рукоятн косы.

Это и называется «уйти в прочки».

И старуха-время тоже не вынесла однообразия звуков, донимавших ее надоедливym повтором, и ушла в прочки, сарай опустел, в углу с остатками паутины валялись обрывки газет, и то и дело здесь ночевали люди, толпами уходившие из окопов, прихватив с собой трехлинейку, надеясь этим нехитрым инструментом подправить гармонию и упразднить все тяготы мира.

Позже в сарае старухи-времени жили столбешники Зотова, пока он не построил им дом, а сарай по его же приказу пустили на дрова.

XLIV. Базар в Рясне

Центром Рясны был базар, куда приезжала Стефка Ханевская, когда еще жила на хуторах.

Базаром в Рясне называли и сам базар, торг, съезд жителей всей округи, и место, где это происходило, – базарную площадь, в Риме такую же называли Форумом. Как место, базар помещался в самом центре Рясны, рядом с Абшарой, это вокруг него стояли кабак рыжего Мойши (потом «Чайная», потом «Столовая» с «пяточком», на котором собирались перед открытием «Столовой» и после ее закрытия), костел, волостная управа, потом сельсовет и т. д. Базар нужно упомянуть при перечислении главных построек, хотя это и не постройка, но важнейшая часть Рясны. Кроме того, каждое воскресенье на базар являлась вся ряснянская округа и не просто являлась, а приходила своеобразным парадом, и за торговыми прилавками можно было безошибочно определить всех жителей округи по внешнему их обличью и по второстепенному товару, который они привозили, защищенные от конкуренции правом вековой монополии (первостепенным товаром здесь считались поросята и хлеб, основа не только торговли, но и на две трети составная часть жизни физиологической, еще одна треть – картошка – имелась у каждого своя).

Таким образом, внимательному наблюдателю могло пока-

заться, что люди со всей округи и сами жители Рясны собирались на базар, чтобы торговать, то есть продавать поросят и хлеб (зерно пшеницы и ржи) и прочий разный мелкий товар тем, кому надо все это купить и у кого есть деньги за все это заплатить. На самом же деле только для торговли на базар выходили ряснянские евреи, а все остальные жители округи и Рясны собирались на базар главным образом, и в первую голову, и в первую очередь для того, чтобы послушать Акима из Зубовки, а уже попутно, раз уж кругом торгуют, то и купить что-нибудь, особенно если в том случалась какая-нибудь необходимость, или что-нибудь продать, если появлялась такая возможность.

XLV. Ряснянская округа. Зубовка

Аким из Зубовки или зубовский Аким происходил из деревни Зубовка.

Зубовка находилась недалеко от Рясны, чуть в стороне от дороги на Могилёв. Первые ее хаты стояли у дороги из Рясны, в низинке, у родника, а остальные поднимались в поле узкой пыльной улицей без единого дерева у плетня, с огородами, переполненными лебедой, чертополохом и крапивой таких необычайных размеров, что семена высевались прямо на соломенные крыши и они по весне зеленели изумрудной порослью, но летом ростки крапивной молодежи вяли и сохли, так как их слабые корешки не находили в соломе крыши соков, которые есть в земле да и то только после дождя.

В Зубовке жили высокие худощавые люди с торчащими в разные стороны космами редких светлых волос. Ходили они всегда в коротковатых штанах, кургуzych пиджачках, подпоясанных веревкой, ни шапок, ни картузов не носили даже зимой — часть по привычке, а большинство из-за отсутствия денег для покупки такой не очень нужной вещи, потому что если вжать голову в плечи и поторопиться, то даже в самый нещадный мороз можно обойтись без шапки.

Каждое поколение зубовцев имело своего обязательного чудака. Мужика необычайной силы, или редкого умельца, или сочинителя скабрёзных частушек, или пьянчужку, кото-

рый, перехватив у кабака дармовые сто граммов, начинал искать правду, касающуюся не какого-то случая, а правду вообще как принципа возможной жизни, и уже ничем другим, кроме этих поисков, больше не занимался, не считая необходимым ни пахать, ни сеять, ни косить в сенокосную пору, ни даже ездить в лес за дровами.

На базар из Zubовки доставляли массу мелочного товара вроде глиняных свистулек для детей, сладких петушков на палочках, цветов из раскрашенной бумаги и непонятно каким образом находящие сбыт картины на мешковине – работы зубовских художников, верхом совершенства для них считалась точная копия картины Васнецова «Три богатыря».

Кроме этого зубовцы снабжали всю округу своеобразным матом* – легким, веселым, хитроумно-изысканным и изящным.

XLVI. История знаменитого глагола

** Так как настоящее описание далеко от филологических изысканий и не включает фольклорных приложений, то не совсем удобно приводить образцы этого словотворчества, поразившего бы любого и специалиста, и неспециалиста необычной фантазией, богатством оттенков (точнее, неисчерпаемостью оттенков), сложностью и одновременно простотой конструкций. Классик белорусской советской литературы Матвей Загрыба, несколько лет проработавший (благодаря Коновалову) в ряснянской школе, позже, уже будучи писателем с положением, утверждал, что зубовцы, отталкиваясь только от двух основных слов и третьего, их связующего, могли описать весь мир, всю Вселенную, начиная от момента сотворения до наших дней, превосходя по глубине мысли, а главное, по образности, и мифы шумеров, и библейские тексты, и гениальные догадки древних греков, и тугодумно-натужливо путанных Канта и Гегеля, предвосхищая современные космогонические теории, подкрепленные фотографиями таинственных глубин мироздания, полученными сверхмощными телескопами.*

На заседаниях Академии наук (вернее, в перерывах между заседаниями) Загрыба дразнил филологов уникальностью этого явления и сочувствовал им, так

как исследования в этой области в те времена не поощрялись и даже находились под запретом.

Один из минских филологов (восходящая научная звезда шестидесятых годов все того же Погромного века) все-таки написал диссертацию на эту тему. Правда, сделал он это тайно и не предоставил ее ученому совету, а только дал прочесть Матвею Загрыбе и кое-кому еще. Филолога поразило, что удивительное словотворчество зубовцев сходно с описанием принципов происхождения мира по представлениям древних китайцев; по их замыслам, мир, со всем его разнообразием, произошел из двух частиц – мужской «янь» и женской «инь», причем оказалось, что у китайцев нет специального глагола, обозначающего и описывающего их взаимодействие – а у зубовцев такой глагол есть. Когда филолог, даже не выезжая в Рясню и Зубовку, а сам руководствуясь подсказками, почерпнутыми из разговора с Загрыбой, сформулировал основные понятия с помощью метода зубовцев, получилась универсальная схема, структуру схожая с построением, напоминающим двойную спираль.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.